

·ОТТО ФОН·
Бисмарк

ВОСПОМИНАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОГО КАНЦЛЕРА

*Niemand ist mehr Sklave, als der sich
für frei hält, ohne es zu sein*



ВЛАСТЬ:
ИСКУССТВО ПРАВИТЬ МИРОМ

Власть: искусство править миром

Отто фон Бисмарк

**Воспоминания
Железного канцлера**

«Издательство АСТ»

1922, 1924

УДК 929(430)
ББК 63.3(4Гем)-8

фон Бисмарк О.

Воспоминания Железного канцлера / О. фон Бисмарк —
«Издательство АСТ», 1922, 1924 — (Власть: искусство править
миром)

ISBN 978-5-17-137754-0

Отто фон Бисмарк (1815–1898) – первый канцлер Германской империи, повлиявший не только на формирование единого германского государства. Следствием его стратегических замыслов и поступков во многом стала перекройка карты Европы в целом. Ученые разных стран сходятся во мнении, что современная Германия является стержнем нынешнего Евросоюза именно благодаря Бисмарку. Мемуары Отто фон Бисмарка подробно рассказывают о личности Железного канцлера и о том вкладе, который он внес в политическую жизнь Европы. «Железность» будущего канцлера не появилась сама собой. Бисмарку на его жизненном пути пришлось преодолеть то, с чем мы сталкиваемся и сегодня: предательство друзей, клевету, несправедливость, травлю, лицемерие. Человек гордый и амбициозный, он умел быть преданным императору и нации, но даже им не прощал нанесенных обид... В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 929(430)
ББК 63.3(4Гем)-8

ISBN 978-5-17-137754-0

© фон Бисмарк О., 1922, 1924
© Издательство АСТ, 1922, 1924

Содержание

Доминанта европейской истории Отто фон Бисмарк	6
Глава первая	8
Глава вторая	21
Глава третья	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Отто фон Бисмарк

Воспоминания Железного канцлера

Иллюстрация на обложке предоставлена фотобанком «Shutterstock»

Напечатано с изменениями и сокращениями по изданию: Бисмарк Отто, фон. Мысли и воспоминания. Пер. с нем. под ред. проф. А.С. Ерусалимского. – М.: Гос. соц-экон. изд, 1940–1941. Т. 1–3

Перевод на русский язык сверен по немецкому изданию: Otto Furst von Bismarck, Gedankenund Erinnerungen, Neue Ausgabe, Erster Band, Stuttgart und Berlin (1922, 1924)

В переводе на русский язык принимали участие Н.С. Волчанская, Н.Г. Касаткина и О.В. Шаргородская, Я.А. Горкина, Р.А. Розенталь, Г.В. Гермаидзе

© С.Н. Полторак, составление, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Доминанта европейской истории Отто фон Бисмарк

Отто фон Бисмарк (1815–1898) – историческая фигура крупного масштаба. Он не обижен вниманием ученых разных стран, в том числе и российских исследователей. Бисмарка чаще всего причисляют к политическим деятелям, сыгравшим решающую роль в складывании единого немецкого государства – Германской империи. Да, безусловно, в середине XIX века территория современной Германии и часть соседних территорий, на которых проживали люди, объединенные общностью немецкого языка, немецкой культуры и, в значительной мере, общей историей, представляла собой сложный и одновременно автономный политический организм. Пять королевств, восемь великих герцогств и двенадцать герцогств – 25 разрозненных государств – объединились во Второй рейх. Некоторые германоязычные территории, такие как Великое герцогство Люксембург, предпочли объединению самостоятельность.

Но Бисмарк повлиял не только на формирование единого германского государства. Следствием его стратегических замыслов и поступков во многом стала перекройка карты Европы в целом. В значительной мере из-за Бисмарка Франция, как главный политический конкурент Германии, утратила свое общеевропейское и мировое влияние. Вероятно, наброски политического эскиза, сделанные Бисмарком во второй половине XIX века, сказались на формировании общеевропейского портрета столетие спустя. В том, что современная Германия является стержнем нынешнего Евросоюза, в немалой степени есть заслуга Бисмарка, заложившего не только политический и экономический фундамент германского государства, но и многое сделавшего для интеграции национальных чувств немцев.

Мемуары Отто фон Бисмарка подробно рассказывают о личности железного канцлера и о том вкладе, который он внес в политическую жизнь Европы. Опыт этого человека интересен для современника. «Железность» будущего канцлера не появилась сама собой. Бисмарку на его жизненном пути пришлось преодолеть то, с чем мы сталкиваемся и сегодня: предательство друзей, клевету, несправедливость, травлю, лицемерие. У него даже были мысли о самоубийстве, но усилием воли он переборол слабости и остался верен своим принципам до конца. Они были простыми и понятными, как многое в жизни того времени. Например, Бисмарк считал, что дворянское происхождение не компенсирует человеческую лень, что любой человек, стремящийся к успеху, должен проявлять деловитость и настойчивость в достижении поставленной цели. Он считал, что невозможно жить без ясных и надежных идеалов. Для него таковыми были идеи монархии. По его мнению, немецкий патриотизм нуждался в чувстве приверженности к династии. Его завораживала притягательная сила взаимности императора и подданного. Но при этом он был убежден в том, что его просвещенная и «сознательная» нация должна жить в условиях подконтрольной монархии.

Объединение Германии он рассматривал не только и не столько как важный шаг в консолидации немцев. В нем он видел в первую очередь эффективный инструмент борьбы с социал-демократией, в которой усматривал главного внутреннего врага. Бескомпромиссность борьбы против социалистов была одним из главных векторов его внутривнутриполитической деятельности. Что же касается внешних врагов, то кроме Франции Бисмарка мало кто беспокоил. Он не доверял Австрии, считал, что «нельзя рассчитывать на прочные отношения» с Англией, но есть необходимость развивать отношения с Россией. Он не испытывал симпатии к Российской империи, зная ее политических деятелей и российский менталитет в целом. Но, по глубокому убеждению Бисмарка, у Германии не должно быть интересов на Востоке.

Человек гордый и амбициозный, он умел быть преданным императору и нации, но даже им не прощал нанесенных обид. Уволенный с должности канцлера, он воспринял это как знак глубокой неблагодарности, отказавшись от титула герцога, которым император пытался сгладить человеческий конфликт, невольно ставший политическим.

Мемуары Отто фон Бисмарка очень субъективны. По его мнению, в политике многое решают симпатии и антипатии людей, а не объективные политические интересы. Но такая позиция – не наивный взгляд человека на окружающий мир, а убеждение в том, что решающее значение для любого государства имеют только национальные интересы.

С.Н. Полторак,

доктор исторических наук, профессор, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Глава первая

До первого соединенного ландтага

I

В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться *одному*, между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, – я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, Гармодий и Аристокитон были, так же как и Брут, преступниками, а Телль – бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до Тридцатилетней войны императору; но, начиная с великого курфюрста, я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку Семилетней войны. Тем не менее немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации (Burschenschaft), которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые мне, в мои 17 лет, приходилось наблюдать непосредственной, нежели большинству старших, чем я, студентов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности. В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет.

Мой первый семестр совпал с Гамбахским праздником (27 мая 1832 г.), его песни остались в моей памяти; третий семестр совпал с Франкфуртским путчем (3 апреля 1833 г.). Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление; мне, воспитанному в прусском духе, претило насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейера и Пфальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 г., аускультатору каммергерихта и правительственному референдарию без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням

бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер-Эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать [в органах] Таможенного союза. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил мало поощряющий прием со стороны министра Ансильона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которых недоставало нашей дипломатии, он указывал – не мне лично, а высшим сферам – на князя Феликса Лихновского, хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственное отношение со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства.



Отто фон Бисмарк – студент, 1833 г.

Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, который он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известное основание. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам, но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле: обычно – лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штатских, не знакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости; все это уси-

ливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его или, – вне отношений, связанных с военной службой, – становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты из числа состоятельных лиц или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предьявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые ad regem [королю]¹, писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда, но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком; да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 г. приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски; посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению.

Кроме того, Ансильон был не так уж неправ, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов; он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически *прусских* бюрократов и приобрести лоск *европейских*. К чему это приводило, становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени; поражаешься, как мало среди них настоящих пруссаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей *assurance* (уверенностью) и были менее застенчивы. Примером мог бы послужить прежде всего господин фон Шлейниц. В списках следуют далее члены владетельных домов: происхождение заменяло им таланты. Ко времени когда я был назначен во Франкфурт, кроме меня, барона Карла фон Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда, я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше: Брасье, Перпонше, Савиньи, Ориола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они «издалека». [Дипломаты прусского происхождения] обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому как это было в армии 1806 г., при господстве старой школы времен Фридриха. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал – вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, – Блюхер, Гнейзенау, Мольтке, Гебен не были исконными пруссаками, точно так же как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман – на поприще

¹ Необходимые для понимания текста слова, вставленные немецким издателем или редакцией русского перевода, заключены в квадратные скобки [].

гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней.

Ансильон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в *германскую* дипломатию Пруссии; призвания к европейской дипломатии он, по-видимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора.

Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующее влияние совместного занятия запретным представителей положительно всех сословий – все это уже в 1835 г. свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце (октябрь 1891 г.). Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.

Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Дела этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили, таким образом, *in cogroge vilii* [на второстепенном материале] свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.



Вильгельмина Луиза Менкен – мать Отто фон Бисмарка



Шёнхаузен, родовое поместье Бисмарков

Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий, – сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, – когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена – нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невинности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь дурой. Зачем тебе это? Придешь домой – муж избьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто “да”, и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». – «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», – завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите, господин референдарий...» – и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует». Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство. Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны. Налицо была определенная потребность в *указе*, который регулировал бы бракоразводный процесс, чем и пришлось ограничиться Фри-

дриху Вильгельму IV после того, как его попытка издать *закон* об изменении имущественно-брачного права потерпела неудачу в результате сопротивления государственного совета. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве *defensores matrimonii* [блустителей брака] и защитников интересов третьих лиц против тайного сговора сторон.

Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой, неопытный юрист приобрел здесь по крайней мере навык в приеме жалоб и опросе свидетелей, хотя в общем его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением. Помещение суда и судебное производство несколько напоминали светлую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где, спиной к публике, заседали председательствующий советник и три или четыре аускультатора, было обнесено деревянным барьером, и перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум.

Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство. Стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно аахенское; курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет.

Мне представляется, что при комплектовании рейнских административных коллегий в 1816 г. поступали подобно тому, как в 1871 г. при организации управления Эльзас-Лотарингии. Власти, которым приходилось уступать часть своего персонала, не считались, видимо, с государственной необходимостью дать лучшее из того, чем они располагали, для выполнения трудной задачи ассимиляции вновь присоединенного населения, а отбирали чиновников, ухода которых желало начальство или они сами; в коллегиях все еще встречались бывшие секретари префектур и другие остатки французской администрации. Личный состав не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год; еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением или среди каждой из этих сторон – разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел, – я обычно оставался под впечатлением: «да, пожалуй, можно сделать и так»; вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате вчетверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика, должности же начальников отделений были чистой синекурой. Уезжая из Аахена, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности, за исключением даровитого президента графа Арнима Бойценбурга. Но относительно некоторых лиц это мнение изменилось в более благоприятном для них смысле, когда я вскоре познакомился с потсдамским управлением, куда я был переведен в 1837 г. по собственному моему желанию; косвенные налоги находились там, в отличие от других провинций, в ведении администрации, а именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможенную политику базисом моего будущего.

Члены коллегии произвели здесь на меня более достойное впечатление по сравнению с аахенскими, но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально-почтенного обер-президента фон Бассевица. В отличие от него аахенский регирунгс-президент граф Арним хотя и казался мне также человеком в парике общепринятого на государственной службе образца, но без косички – в переносном смысле слова. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне, я в своих взаимоотношениях помещика с вла-

стями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее. Помню, как мне, замещавшему тогда ландрата, пришлось дать однажды заключение по плану об отмене выборности ландратов. Я высказался в том смысле, что уважение к бюрократии падает по мере удаления [по иерархической лестнице] от ландрата кверху. Уважением бюрократия пользуется только в образе ландрата – фигуры с головой Януса, одно лицо которого обращено к бюрократии, другое – к земству.

Склонность к нелепому вмешательству в самые разнообразные стороны жизни проявлялась при тогдашнем патриархальном режиме, быть может, сильнее, чем в наше время; но те, кто осуществлял это вмешательство, были не столь многочисленны и стояли по уровню своего образования и воспитания выше части своих теперешних преемников. Чиновники достославного королевского правительства были честными, образованными и благовоспитанными чиновниками. Но их благожелательная деятельность не всегда встречала признание, так как сопровождалась недостаточным знакомством с местными условиями и разменивалась на мелочи, относительно которых взгляды ученого горожанина за канцелярским столом не всегда выдерживали критику простого человеческого здравого смысла крестьянина. Членам административных коллегий приходилось тогда делать *multa*, а не *multum* [много, но незначительное]. Отсутствие более высоких задач приводило к тому, что они не находили себе достаточного количества действительно нужной работы и в своем должностном рвении выходили далеко за пределы потребностей управляемых, впадая в манию регламентирования, в то, что швейцарцы называют «*Befehlerle*» [«повелительство»].

Если бросить для сравнения беглый взгляд в сторону современности, то придется отметить: в свое время надеялись, что после введения действующей ныне системы местного самоуправления государственные учреждения будут избавлены от излишка дел и чиновников. На самом деле получилось нечто прямо противоположное этому: количество чиновников и их загруженность делами значительно возросли в связи с увеличением переписки и возникновением трений между административными инстанциями и органами самоуправления, начиная от провинциального совета и кончая сельским общинным управлением. Раньше или позже наступит критический момент, когда мы окажемся раздавленными под бременем писанины, а главное – низшей бюрократии. Наряду с этим бюрократическое давление на частную жизнь усилилось еще и благодаря тому способу, каким осуществляется «самоуправление»; в сельских общинах оно ощущается теперь острее, чем прежде. Некогда столь же близкий населению и государству ландрат представлял собой последнее звено государственной бюрократии; еще ниже стояли местные органы, которые подлежали, правда, контролю дисциплинарной власти окружной и центральной бюрократии, но не в такой мере, как сейчас. То самоуправление, какое предоставлено теперь сельскому населению, вовсе не равноценно автономии, которой издавна пользуются города: в лице старшины оно получило начальника, который по приказам свыше, со стороны ландрата, и под угрозой дисциплинарных взысканий оказывается вынужденным обременять своих сограждан в пределах своего округа всякого рода списками, извещениями, требованиями, – все это в соответствии с общим духом государственной иерархии. Управляемые – *contribuens plebs* [платящий народ] – не обладают уже более в лице ландрата гарантией против неуместного вмешательства в свои дела, гарантией, выражавшейся прежде всего в том, что ставший ландратом житель того или иного округа имел обычно твердое намерение оставаться здесь в этой должности всю свою жизнь и разделял, таким образом, радости и горести своего округа. Пост ландрата оказался теперь низшей ступенью дальнейшего продвижения на административном поприще, и его домогаются молодые ассессоры, побуждаемые к тому законным честолюбивым стремлением сделать карьеру; для достижения этой цели они нуждаются не столько в добрых чувствах жителей округа по отношению к ним, сколько в благоволении министра, и стараются снискать его, проявляя исключительное рвение и оказывая всемерное

давление на старшин мнимого самоуправления при осуществлении даже никчемных бюрократических экспериментов. В этом заключается в значительной мере причина переобременения подчиненного им населения в системе местного «самоуправления». «Самоуправление» означает, таким образом, резкое усиление бюрократии, умножение чиновников, их власти и их вмешательства в частную жизнь.

Природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренно и добросовестно стремились быть справедливыми. Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления в тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу; благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденное отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений. Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени, и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере – не во всех случаях. У меня, наоборот, создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации; да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судей и чиновников последние a priori [заранее] должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые. Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально; независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования, чувство личной ответственности, – эта существенная гарантия добросовестности решения, – утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство.

Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Аахене, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным; воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в Роцисе, близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности. Отказавшись от честолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта ландвера.

II

Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развились черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов Песталоцци и Яна, частичка «фон» перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у Серого монастыря (zum Grauen Kloster) мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен, предшествовавших 1806 г. Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах,

ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий. Отец мой был чужд аристократических предрассудков, и если даже свойственное ему внутреннее чувство равенства и подверглось, быть может, некоторым изменениям, то только под влиянием офицерских впечатлений молодости, а отнюдь не в силу преувеличенного представления о преимуществах происхождения. Мать моя была дочерью Менкена, советника кабинета Фридриха Великого, Фридриха-Вильгельма II и Фридриха-Вильгельма III; Менкен слыл в придворных кругах того времени либералом; он происходил из лейпцигской профессорской семьи; ее последние, ближайшие ко мне представители оказались в Пруссии на службе в иностранном ведомстве и при дворе. Барон фон Штейн отзывался о моем деде Менкене, как о честном и весьма либеральном чиновнике. При таких обстоятельствах воспринятые мной с молоком матери взгляды были скорее либеральными, нежели реакционными, и если бы моя мать дожила до времени моей министерской деятельности, то она вряд ли была бы согласна с направлением этой деятельности, хотя внешний успех, сопровождавший мою служебную карьеру, чрезвычайно порадовал бы ее. Она выросла в бюрократических и придворных кругах. Фридрих-Вильгельм IV, вспоминая о своих детских играх с нею, называл ее Минхен. Я могу, таким образом, подчеркнуть, насколько несправедливой является такая оценка моих юношеских взглядов, когда мне приписывают «предрассудки моего сословия» и утверждают, будто воспоминание о прерогативах дворянства послужило исходным пунктом моей внутренней политики.

Равным образом и неограниченный авторитет старой прусской королевской власти не был и не является последним словом моих убеждений. На первом Соединенном ландтаге я был, правда, убежден, что в государственно-правовом смысле такой авторитет монарха налицо, но при этом рассчитывал и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителя в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности. Но даже когда монарх обладает всеми этими достоинствами, то и тогда фавориты – мужчины и женщины, в лучшем случае законная супруга, – собственное тщеславие и восприимчивость по отношению к лести отнимают у государства часть плодов королевского благоволения, ибо монарх не всеведущ и не может одинаково успешно охватить все стоящие перед ним задачи. Я уже в 1847 г. стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров, стремящихся держать монарха в шорах и мешающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупредить или выправлять злоупотребления. Мои воззрения на этот счет становились все более четкими и определенными по мере того, как я ближе знакомился с придворными кругами и должен был отстаивать государственный интерес вопреки придворным течениям и оппозиции со стороны ведомственного патриотизма. Лишь государственный интерес руководил мной, и клевета, когда даже благожелательные ко мне публицисты обвиняют меня в том, будто я когда бы то ни было отстаивал господство дворянства. Я никогда не считал, что происхождение способно восполнить недостаток деловитости; если я и защищал землевладение, то делал это не в интересах землевладельцев одного со мною сословия, а потому, что в упадке сельского хозяйства я вижу одну из величайших опасностей для всего нашего государственного существования. В качестве идеала мне всегда представлялась монархическая власть, которая контролировалась бы независимым, по моему мнению – сословным или профессиональным, представительством от страны в той степени, в какой это необходимо, чтобы ни монарх, ни парламент не могли изменять существующее правовое состояние *односторонне*, а лишь *commun consensu* [с общего согласия] при условии гласности и публичной критики прессой и ландтагом всего происходящего в государстве.

Даже люди, считающие, что наиболее подходящей формой управления немецкими подданными является бесконтрольный абсолютизм в таком виде, как он был впервые выдвинут на

сцену Людовиком XIV, теряют это убеждение при специальном изучении истории отдельных дворов и в результате критических наблюдений, подобных тем, какие я имел возможность производить во времена Мантейфеля при дворе короля Фридриха-Вильгельма IV, лично любимого и почитаемого мною. Король был верившим в свою миссию абсолютистом, и министры после Бранденбурга обычно [бывали] довольны, когда они оказывались под прикрытием королевской подписи даже в тех случаях, когда они лично не могли бы нести ответственность за содержание подписанного. Я слышал однажды, как при известии о невшатальском восстании роялистов высокопоставленный и абсолютистски настроенный придворный сказал при мне и нескольких своих коллегах не без некоторого смущения: «Это – роялизм, который можно встретить в наши дни лишь на большом расстоянии от двора». Сарказмы были, вообще говоря, не в нравах этого старого вельможи.

Мои наблюдения над взяточничеством и крючкотворством окружных фельдфебелей (Bezirksfeldwebeln) и мелких чиновников в деревне и небольшие конфликты со штеттинским управлением, в которые я оказался вовлеченным, как депутат от уезда и заместитель ландрата, усилили мою неприязнь к господству бюрократии. Упомяну об одном из этих конфликтов. В то время как я замещал находившегося в отпуске ландрата, мною было получено предписание окружного управления побудить владельца Кюльца – а это был я сам – взять на себя определенные повинности. Я отложил предписание в сторону с тем, чтобы передать его ландрату после возвращения последнего, но получил повторные напоминания, и на меня наложили дисциплинарный штраф в размере одного талера со взысканием по почте. Тогда я составил протокол, в котором значилось, что я явился, во-первых, как заместитель ландрата, во-вторых, как владелец Кюльца. Присутствующий сделал самому себе в первом своем качестве предписанное внушение, а затем, в своем втором качестве, изложил мотивы, по которым он должен отклонить обращенное к нему требование, после чего протокол был им дважды подтвержден и подписан. В управлении понимали толк в шутках и распорядились вернуть мне штраф. В других случаях дело доходило до более неприятных трений. Я стал обнаруживать склонность к критике и оказался, следовательно, «либералом» в том смысле, в каком применяли в то время это слово в помещичьих кругах для обозначения недовольства бюрократией, которая со своей стороны в лице большинства своих членов была более либеральной, чем я, но только в ином смысле.

Мое сословно-либеральное настроение не пользовалось в Померании достаточным пониманием и сочувствием; в Шенгаузене же оно встретило одобрение со стороны соседей по уезду: графа Вартенслебена-Каров, Ширштедта-Дален и других, – это были те же элементы, которые в известной своей части принадлежали к церковным попечителям, осужденным по суду позднее, при «новой эре». Из этого настроения я был снова выведен несимпатичным мне направлением оппозиции первого Соединенного ландтага, к участию в работах которого я был призван лишь в последние шесть недель сессии в качестве заместителя заболевшего депутата фон Брахухича. Речи представителей Восточной Пруссии Заукена-Тарпучен, Альфреда Ауэрсвальда, сентиментальность Бекерата, рейнско-французский либерализм Хейдта и Мевиссена и громогласная порывистость речей Финке – все это внушало мне отвращение; когда я теперь еще перечитываю эти дебаты, они производят на меня впечатление импортированного шаблонного фразерства. У меня было такое ощущение, что король – на правильном пути и имеет право на то, чтобы ему дали время и отнеслись со всей деликатностью к его собственному развитию.

У меня начался конфликт с оппозицией, когда я 17 мая 1847 г. впервые взял слово для довольно пространного выступления. Я опровергал в нем легенду, будто пруссаки пошли в 1813 г. на войну, чтобы добиться конституции, и дал выход своему естественному возмущению по поводу того, что господство иноземцев само по себе не могло быть якобы достаточным основанием для борьбы. Мне казалось недостойным, когда за то, что нация *сама себя* освободила, она собирается предъявить королю счет, расплата по которому должна быть произведе-

дена параграфами конституции. Мои слова вызвали бурю. Я остался на трибуне, перелистывал лежавшую там газету и, после того как волнение улеглось, закончил свою речь.

На придворных празднествах, происходивших во время Соединенного ландтага, король и принцесса Прусская явно избегали меня, но по разным мотивам: принцесса потому, что я не был либералом и не пользовался популярностью, а король по причине, которая стала для меня ясной лишь позднее. Когда во время приема членов ландтага король избегал говорить со мною или когда во дворце, обходя круг и заговаривая с каждым по очереди, он смолкал, как только доходил до меня, возвращался обратно или направлялся на противоположный конец зала, – в такие моменты у меня невольно являлось подозрение, что я в своем пылком увлечении роялизмом переступил границы, которые король поставил себе. Неосновательность этого предположения выяснилась лишь несколько месяцев спустя, когда, совершая мое свадебное путешествие, я посетил Венецию. Король, узнав меня в театре, назначил мне на другой день аудиенцию и пригласил к столу. Это было для меня такой неожиданностью, что при моем легком багаже и неумелости местных портных я был лишен возможности явиться в соответствующем случае костюме. Прием был настолько милостив, и беседа, между прочим и на политические темы, была такова, что я мог заключить из нее об одобрении и поощрении занятой мной в ландтаге позиции. Король приказал мне являться к нему зимой, что и имело место. При этом, а также на малых обедах во дворце я убедился в полном благоволении ко мне обоих высочайших особ и в том, что король, избегавший в период сессий ландтага говорить со мной публично, не имел намерения выразить этим порицание моему политическому поведению, а стремился лишь не обнаруживать тогда своего одобрения перед посторонними.

Глава вторая 1848 год

I

Первое известие о событиях 18 и 19 марта 1848 г. я получил в доме моего соседа по имению, графа фон Вартенслебена-Каров, где нашли приют бежавшие из Берлина дамы. Политическое значение событий подействовало на меня в первый момент не так сильно, как возмущивший меня факт убийства наших солдат на улицах города. Король, – думал я, – быстро стал бы хозяином политического положения, если бы только он был свободен; ближайшей задачей я считал освобождение короля, который оказался, по-видимому, во власти мятежников.

20-го числа шенгаузенские крестьяне сообщили мне, что приходили делегаты из расположенного в трех четвертях мили Тангермюнде с требованием водрузить, по примеру их города, трехцветное черно-красно-золотое знамя на колокольне, пригрозив возвратиться, в случае отказа, с подкреплением. Я спросил крестьян, намерены ли они воспротивиться этому, они ответили единодушным и горячим «да», и я посоветовал им выгнать из села горожан, что и было исполнено при живейшем участии женщин. Затем я приказал взять из церкви и поднять на колокольне белое знамя с черным крестом, воспроизводившим форму железного креста, и выяснил, сколько было в деревне ружей и огнестрельных припасов. Налицо оказалось до пятидесяти крестьянских охотничьих ружей. У меня тоже нашлось штук двадцать, считая и старинное оружие. За порохом я послал верховых в Ерихов и Ратенов.

Затем, вместе с женой, я проехал по окрестным деревням и убедился, с каким усердием крестьяне готовы идти на Берлин выручать короля. Особым воодушевлением отличался старый смотритель плотины в Нейермарке Краузе, служивший некогда вахмистром «карабинеров» в полку у моего отца. Лишь мой ближайший сосед сочувствовал берлинскому движению, упрекнул меня в том, что я бросаю горящий факел в страну, и заявил, что если крестьяне в самом деле вздумают выступить, то он вмешается и отговорит их. Я возразил: – «Вы знаете, что я человек спокойный, но если вы это сделаете, то я застрелю вас». – «Вы этого не сделаете», – ответил он. «Даю в том честное слово, – продолжал я, – вы знаете, что я свое слово держу, а потому прекратите это».

Затем я поехал один в Потсдам и там на вокзале увидел господина фон Бодельшвинга, который до 19 марта был министром внутренних дел. Ему явно не хотелось, чтобы его видели беседующим со мной, «реакционером»; он ответил на мое приветствие словами: «Ne me parlez pas» [«Не говорите со мной»]. – «Les paysans se levent chez nous» [«У нас поднимаются крестьяне»], – возразил я. «Pour le Roi?» [«За короля?»] – «Oui» [«Да»]. – «Этот канатный плясун», – сказал он, закрывая руками глаза, на которых показались слезы. В городе, в сквере возле гарнизонной церкви, я увидел расположившуюся бивуаком гвардейскую пехоту. Я поговорил с людьми и выяснил, что они возмущены приказом об отступлении и стремятся снова в бой. На обратном пути следом за мной шли по набережной канала похожие на шпионов штатские, которые старались вступить в разговор с солдатами и вели по моему адресу угрожающие речи. У меня было четыре заряда, но мне не пришлось пустить их в дело. Я остановился у моего друга Роона, которому, как воспитателю принца Фридриха-Карла, было отведено несколько комнат в городском замке, и посетил в «Немецком доме» генерала фон Меллендорфа, еще не оправившегося от побоев, нанесенных ему, когда он вел переговоры с мятежниками, а также генерала фон Притвица, который командовал войсками в Берлине. Я описал им настроение крестьян, а они сообщили мне некоторые подробности событий вплоть до утра 19-го. Все, что

они мне рассказали, а также те известия, которые были получены позднее из Берлина, могли лишь укрепить меня в вере, что король был не свободен.

Притвиц, который был старше меня и рассуждал спокойнее, сказал: «Не присылайте нам крестьян, они нам не нужны – солдат у нас хватит; пришлите лучше картофеля и зерна, пожалуйста, также денег, так как я не знаю, позаботятся ли о достаточном обеспечении солдат продовольствием и жалованьем. Если бы пришли подкрепления, я получил бы из Берлина приказ отослать их обратно и должен был бы его выполнить». – «Так выручите же короля!» – сказал я. Он возразил: «Это было бы не очень трудно. У меня достаточно сил, чтобы взять Берлин, но тогда придется опять сражаться; что мы можем сделать, когда король приказал нам играть роль побежденного? Без приказа я не могу выступить».

При таком положении вещей я пришел к мысли обеспечить иным путем получение приказа, которого не приходилось ожидать от несвободного короля, и попытался попасть к принцу Прусскому. Мне сказали, что для этого необходимо согласие принцессы, и я явился к ней, чтобы узнать местопребывание ее супруга (как я узнал позднее, он находился на Павлиньем острове). Она приняла меня на антресолях, в комнате для прислуги, сидя на сосновом стуле, отказалась дать мне просимые сведения и заявила в большом возбуждении, что ее долг оберегать права своего сына. Сказанное ею основывалось на той предпосылке, что король и ее супруг не смогут удержаться, и давало основание заключить, что она думает о регентстве в период несовершеннолетия сына. Чтобы получить для этой цели содействие правых в палатах, мне были сделаны формальные предложения через Георга фон Финке. Так как я не мог попасть к принцу Прусскому, то попытался воздействовать на принца Фридриха-Карла; я указал ему, как важно, чтобы королевская семья сохранила связь с армией, а если его величество не свободен, то и действовала бы ради дела короля, хотя бы и без его приказаний. С живым волнением он ответил мне, что при всем сочувствии моей идее не может взять на себя ее осуществление, чувствуя себя еще слишком молодым для этого и не желая следовать примеру студентов, которые вмешиваются в политику, – он ведь не старше, чем они. Я решился тогда сделать попытку проникнуть к королю.

Принц Карл дал мне в Потсдамском дворце следующее открытое письмо, которое должно было служить мне удостоверением и пропуском:

«Податель сего – хорошо мне известный – имеет поручение *лично* осведомиться у его величества, все милостивейшего брата моего, о высочайшем его здоровье и доставить мне известие, по какой причине я не получаю в течение 30 часов *никакого* ответа на мои неоднократные собственноручные запросы о том, могу ли я приехать в Берлин.

Потсдам, 21 марта 1848 г. *Карл, принц Прусский*
1 час пополудни».

Я поехал в Берлин. Так как со времени Соединенного ландтага меня многие знали в лицо, я счел благоразумным сбрить бороду и надеть широкополую шляпу с пестрой кокардой. Надеюсь получить аудиенцию, я был во фраке. На вокзале у выхода было поставлено блюдо с призывом жертвовать в пользу баррикадных борцов, а возле него стоял долговязый верзила из гражданской гвардии с мушкетом за плечами. Мой двоюродный брат, с которым я встретился, выходя из вагона, вытащил кошелек. «Не станешь же ты благодетельствовать этим убийцам, – сказал я, добавив в ответ на предостерегающий взгляд, который он на меня бросил: – и не испугаешься же ты коровьей ноги!» В стоявшем на посту человеке я успел уже узнать моего приятеля, советника судебной палаты Мейера, когда он, сердито обернувшись на мое замечание, воскликнул: «Господи, да ведь это Бисмарк! Какой у вас вид! Ну и свинство же здесь!»

Караул гражданской гвардии во дворце осведомился, что мне там нужно. Когда я ответил, что я должен вручить королю письмо от принца Карла, часовой недоверчиво посмотрел

на меня и сказал, что этого не может быть: принц как раз сейчас у короля. Следовательно, он должен был выехать из Потсдама еще до меня. У меня потребовали, чтобы я показал письмо; я показал, так как оно было незапечатано, а содержание его – безвредно; меня пропустили, но не во дворец. В гостинице Мейнгарда в окне нижнего этажа я увидел знакомого мне доктора. Я зашел к нему. Там я написал королю все, что намеревался сказать ему. С этим письмом я отправился к князю Богуславу Радзивиллу, который пользовался свободой сношений и мог передать его королю. Я писал между прочим, что революция ограничивается большими городами и что король будет хозяином в стране, как только он оставит Берлин. Король не ответил, но впоследствии сказал мне, что бережно сохранил написанное плохо и на плохой бумаге письмо, как первый знак сочувствия, полученный им в то время.

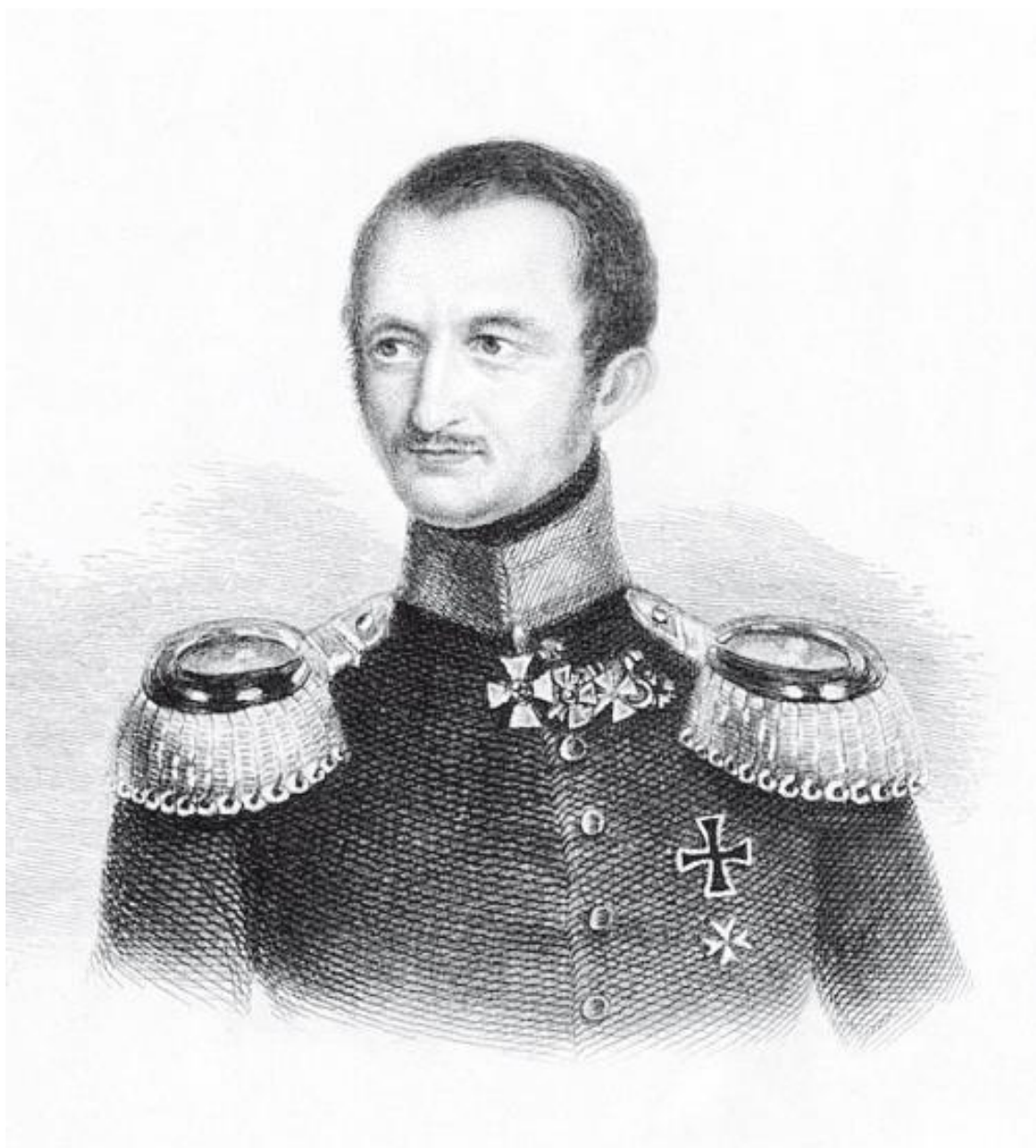
Когда я бродил по улицам, осматривая следы борьбы, какой-то незнакомый человек сказал мне вполголоса: «Знаете, за вами следят». На Унтер-ден-Линден другой неизвестный шепнул мне: «Идите за мной». Я последовал за ним на Малую Мауэр-штрассе, где он сказал: «Уезжайте, иначе вас арестуют». – «Вы меня знаете?» – спросил я. «Да, – ответил он, – вы господин фон Бисмарк». Откуда мне угрожала опасность и откуда исходило предостережение – я так никогда и не узнал. Незнакомец поспешно удалился. Один уличный мальчишка крикнул мне вслед: «Смотри-ка, да ведь это француз». Впоследствии мне неоднократно представлялся повод к тому, чтобы вспоминать этот отзыв. Моя длинная эспаньолка, – единственное, что я не сбрил, – мягкая шляпа и фрак произвели на мальчишку впечатление чего-то экзотического. Улицы были пусты, не видно было ни одного экипажа; мимо меня прошло только несколько отрядов в блузах и со знаменами, в том числе один, сопровождавший по Фридрих-штрассе увенчанного лаврами баррикадного героя на какое-то чествование.

В тот же день я вернулся в Потсдам – не из-за предостережений, а потому, что в Берлине мне, как оказалось, нечего было делать, и мы еще раз обсудили с генералами Меллендорфом и Притвицем вопрос о возможности самостоятельного действия. «Как нам за это приняться?» – сказал Притвиц. Я пробренчал на открытом фортепиано, возле которого сидел, пехотный марш к атаке. Меллендорф в слезах, превозмогая боль от ран, бросился мне на шею и воскликнул: «Если бы вы могли нам это устроить». – «Я не могу», – возразил я. «Но чем вы рискуете, сделав это без приказа? Страна будет вам благодарна, и король в конце концов тоже». Притвиц: «Ручаетесь ли вы, что Врангель и Гедеман пойдут с нами? Не можем же мы вдобавок к неповиновению вносить в армию еще и распри». Я обещал выяснить это, поехать в Магдебург лично, а в Штеттин послать доверенного человека, чтобы позондировать почву у обоих командующих там генералов. Ответ от генерала фон Врангеля гласил: «Как поступит Притвиц, так поступлю и я». Мне самому посчастливилось в Магдебурге меньше. Я попал сначала лишь к адъютанту генерала фон Гедемана, молодому майору, которому открылся и который выразил мне свое сочувствие. Вскоре, однако, он пришел ко мне в гостиницу и просил меня немедленно уехать, чтобы не ставить себя в неприятное, а старого генерала в смешное положение; последний намеревался арестовать меня как государственного изменника. Тогдашний обер-президент фон Бонин, олицетворявший высшую политическую власть этой провинции, выпустил обращение следующего содержания: «В Берлине разразилась революция: я буду стоять над партиями». Подобная «опора трона», – Бонин был впоследствии министром и занимал высокие и влиятельные должности. Генерал Гедеман принадлежал к кругу Гумбольдта.

Вернувшись в Шенгаузен, я постарался разъяснить крестьянам, что вооруженный поход на Берлин неосуществим, но тем самым навлек на себя подозрения, что заразился в Берлине революционным головомучением. Поэтому я сделал им предложение, которое было принято, – послать со мной в Потсдам делегатов от Шенгаузена и других деревень, чтобы самим все посмотреть и поговорить с генералом фон Притвицем, а может быть, и с принцем Прусским. Когда мы 25-го приехали на вокзал в Потсдаме, туда как раз прибыл король, весьма сочувственно встреченный большой толпой людей. Я сказал сопровождавшим меня крестья-

нам: «Там король, я вас представлю ему, поговорите с ним». Но они, испугавшись, отказались и быстро ретировались в задние ряды. Я почтительно приветствовал короля; он поблагодарил, не узнавая меня, и поехал во дворец. Я отправился следом за ним и слышал речь, с которой он обратился в Мраморном зале к офицерам гвардейского корпуса. При словах: «Я никогда не был более свободен и в большей безопасности, как под охраной моих граждан», – поднялся такой ропот и такой лязг сабельных ножен, каких в окружении своих офицеров ни один король Пруссии, вероятно, еще никогда не слышал и, надеюсь, никогда уже больше не услышит².

С уязвленным чувством вернулся я обратно в Шенгаузен.



Эдуард фон Бонин
(1793–865)

² Передо мной лежат противоречивые и несогласные с моими личными воспоминаниями рассказы об этом событии, напечатанные в «Allgemeine Preussische Zeitung», «Vossische Zeitung», «Schlesische Zeitung». (Wolff, Berliner Revolutions-Chronik, Band I, 424.). Здесь и далее – примечания, отмеченные звездочкой, принадлежат Бисмарку.

Воспоминание о разговоре, который я имел в Потсдаме с генерал-лейтенантом фон Притвицем, побудило меня в мае обратиться к нему со следующим письмом, подписанным вместе со мной и моими шенгаузенскими друзьями:

«Всякий, у кого бьется в груди прусское сердце, без сомнения, с таким же негодованием, как и мы, нижеподписавшиеся, читал те нападки, которым подвергались в печати королевские войска в первые недели после событий 19 марта в награду за то, что они честно исполнили свой долг в бою и, получив приказание отступить, показали непревзойденный пример воинской дисциплины и самоотвержения. Если печать с некоторого времени держится более прилично, то причина этого заключается не столько в том, что партия, распоряжающаяся этой печатью, стала с тех пор более правильно разбираться в положении вещей, как в том, что стремительный ход последующих событий оттесняет на задний план впечатления от предыдущих; иные становятся даже в позу, как будто готовы простить войскам их прежние дела ради вновь совершенных ими³. Даже среди сельского населения, встретившего первые сообщения о берлинских событиях с едва обуздываемым озлоблением, начали укореняться искаженные представления, которые распространялись со всех сторон – и почти без противодействия – отчасти прессой, отчасти эмиссарами, обрабатывающими народ по случаю выборов; в результате и благомыслящие люди из сельского населения начинают верить, будто не вовсе лишено оснований, что борьба на улицах Берлина была вызвана войсками умышленно, с ведома и желания столь оклеветанного наследника или независимо от него, с целью вырвать у народа сделанные королем уступки. В подготовку, которая велась другой стороной, в систематическую обработку народа почти никто уже не хочет верить. Мы опасаемся, что по крайней мере в сознании низших слоев народа эта ложь на долгое время станет историей, если не выступить против нее с обстоятельным, подкрепленным доказательствами изложением истинного хода дела, и притом как можно скорей: при совершенно не поддающемся расчету нынешнем стремительном беге времени не сегодня-завтра могут наступить события, которые своей значительностью прикуют к себе внимание публики настолько, что разъяснения, относящиеся к прошлому, не встретят уже никакого отклика.

Если бы удалось хотя бы до некоторой степени открыть глаза населению на мутные источники берлинского движения, равно как и на то, что борьба мартовских героев за достижение *приводимых ими в свое оправдание целей* (защита обещанных его величеством конституционных учреждений) была ненужной, это оказало бы, по нашему мнению, существеннейшее влияние на политические взгляды. Мы считаем, что вы, ваше превосходительство, как начальник достопочтенных войск, действовавших во время этих событий, преимущественно перед всеми другими призваны и можете убедительнейшим образом извлечь на свет правду о них. Убеждение в том, как важно это для нашего отечества и как много выиграет от этого слава нашей армии, послужит нам извинением в том, что мы обращаемся к вашему превосходительству с настойчивой и почтительной просьбой: предать как можно скорее гласности, поскольку это допускают соображения служебного характера, точное и подкрепленное документальными доказательствами описание берлинских событий с военной точки зрения».

Генерал фон Притвиц не исполнил этой просьбы. Только 18 марта 1891 г. генерал-лейтенант фон Мейеринк напечатал в приложении к военному журналу «*Militär Wochenblatt*» статью, которая ставила себе указанную мною цель; к сожалению, она появилась так поздно, что как раз самые важные свидетели событий, а именно флигель-адъютант Эдвин фон Мантейфель и граф Ориола тем временем уже скончались.

³ 23 апреля они заняли Шлезвиг.

В дополнение к истории мартовских событий приведу здесь разговоры, которые я вел через несколько недель после этого с лицами, пожелавшими встретиться со мной, считая меня доверенным лицом консерваторов. Одни хотели оправдать свое поведение до и после событий 18 марта, другие – передать мне свои наблюдения. Полицей-президент фон Минутоли жаловался, что его упрекали, будто он предвидел восстание и ничего не сделал, чтобы предупредить его. Он отрицал, что ему были известны какие-либо тревожные признаки. Я возразил, что слышал в Гентине от очевидцев, будто за несколько дней до 18 марта по направлению к Берлину проехали какие-то люди, похожие на иностранцев и говорившие в большинстве по-польски, причем одни из них открыто везли с собой оружие, а другие – тяжелые тюки. В ответ Минутоли рассказал, что министр фон Бодельшвинг вызвал его в середине марта к себе и выражал ему свои опасения по поводу происходившего брожения умов; тогда Минутоли свел его на одно собрание перед палатками. После того как Бодельшвинг послушал, какие речи там проносились, он сказал: «Люди говорят вполне разумно, благодарю вас, вы удержали меня от глупости». При суждении о Минутоли подозрительной была его популярность в первые дни после борьбы на улицах. Для полицей-президента популярность, как результат мятежа, была неестественна.

Меня посетил также генерал фон Притвиц, командовавший войсками, [расположенными] около дворца. Он рассказал мне, что с их отступлением дело обстояло так: после того как ему стало известно обращение «К моим дорогим берлинцам», он прекратил сражение, но продолжал занимать для защиты дворца Дворцовую площадь, цейхгауз и прилегающие улицы. Бодельшвинг обратился тогда к нему с требованием: «Дворцовая площадь должна быть очищена!» – «Это невозможно, – ответил Притвиц, – тем самым я выдал бы короля». – «Король в своем обращении повелел, чтобы все «общественные места»⁴ были очищены, – сказал Бодельшвинг. – Дворцовая площадь – общественное место или нет? Я еще министр и точно знаю, что в качестве министра я должен делать. Я требую, чтобы вы очистили Дворцовую площадь».

«Что же мне оставалось делать, – закончил свой рассказ Притвиц, – как не отойти?» – «А я счел бы самым целесообразным, – ответил я, – скомандовать унтер-офицеру: “Возьмите этого штатского под стражу”». Притвиц возразил: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее. Вы рассуждаете, как политик; я действовал исключительно, как солдат – по инструкции руководящего министра, опиравшегося на высочайше подписанное обращение». Я слышал из другого источника, будто Притвиц прервал этот свой последний разговор с Бодельшвингом, происходивший на улице, бросив в гнев саблю в ножны и пробормотав то, что Гец фон Берлинхенген кричит в окно имперскому комиссару. Затем он повернул коня налево и молча поехал шагом по Шлосфрейхейт. Когда посланный из дворца офицер спросил его, где находятся войска, он едко ответил: «Они проскользнули у меня между пальцами, – ведь тут все распоряжаются»⁵.

От офицеров ближайшего окружения его величества я слышал следующее. Они разыскивали короля, но не могли сразу найти его, так как он удалился по естественным надобностям. Когда он появился, они его спросили: «Ваше величество приказали, чтобы войска ушли?» Король ответил: «Нет». – «Они, однако, уже уходят», – сказал адъютант и подвел короля к окну. Дворцовая площадь была черна от заполнивших ее штатских, за которыми еще видны были штыки уходивших солдат. «Этого я не приказывал, этого быть не может!» – воскликнул король в замешательстве и негодовании.

О князе Лихновском мне рассказывали, что он попеременно распространял наверху, во дворце, панические слухи о слабости войск, о недостатке провианта и военных припасов, а

⁴ В обращении сказано: «все улицы и площади».

⁵ Письмо пастора фон Бодельшвинга от 8 ноября 1891 г. («Kreuzzeitung» от 18 ноября 1891 г. № 539) и воспоминания Леопольда фон Герлаха мне известны.

внизу, на площади, по-немецки и по-польски уговаривал повстанцев держаться, – наверху, мол, пали духом.

II

На краткой сессии второго Соединенного ландтага 2 апреля я говорил:

«Я принадлежу к числу тех немногих, кто будет голосовать против адреса; и я просил слово только для того, чтобы мотивировать это голосование и объяснить вам, что в той мере, в какой адрес является программой будущего, я его принимаю, но единственно лишь потому, что ничего другого мне не остается. Я делаю это не добровольно, но под давлением обстоятельств; ибо за эти шесть месяцев я не изменил своих взглядов; я полагаю, что это министерство – единственное, которое может вывести нас из теперешнего положения и привести к порядку и законности; поэтому я окажу ему мою скромную поддержку везде, где это окажется для меня возможным. Но что заставляет меня голосовать против адреса – это выражения радости и признательности по поводу того, что совершилось в последние дни. Прошлое погребено, и я скорблю более, нежели многие из вас, о том, что никакие человеческие силы не в состоянии воскресить его, после того как сама корона бросила горсть земли на свой собственный гроб. Но, принимая это под давлением обстоятельств, я не могу закончить свою деятельность в Соединенном ландтаге ложью и выразить благодарность и радость по доводу того, что я должен признать по меньшей мере вступлением на неправильный путь. Если на том новом пути, на который мы теперь вступили, действительно удастся достичь *единого германского отечества* и счастливого или хотя бы только законным образом упорядоченного состояния, в таком случае настанет момент, когда я выражу свою благодарность зачинателю нового порядка вещей, – в настоящее же время это для меня невозможно».

Я хотел сказать больше, но внутреннее волнение не позволило мне продолжать, я судорожно зарыдал и вынужден был уйти с трибуны.

За несколько дней до этого выпад одной магдебургской газеты вынудил меня обратиться в редакцию со следующим письмом, в котором я воспользовался тем достижением, которого так бурно требовали и которое было обеспечено путем отмены цензуры, а именно «правом свободного выражения мнений», не подозревая, что через 42 года это право будут у меня оспаривать.

«Милостивый государь,

вы поместили в сегодняшнем номере вашей газеты статью “Из Альтмарка”, которая бросает тень на некоторых лиц, косвенно также и на меня; поэтому я надеюсь, что вы сочтете справедливым принять нижеследующее опровержение. Хотя я и не являюсь тем господином, указанным в статье, который якобы приехал из Потсдама в Стендаль, но и я на предыдущей неделе заявлял в соседних со мной общинах, что не считаю короля свободным в Берлине, и призывал их послать депутацию в соответствующую инстанцию. Но при этом я не склонен допускать, чтобы мне приписывали те эгоистичные мотивы, которые указаны вашим корреспондентом. Во-первых, тот, кому было известно все совершившееся с королем после ухода войск, естественно мог составить себе мнение, что король не был властен делать и не делать то, что он хотел; во-вторых, я считаю каждого гражданина свободного государства в праве высказывать своим согражданам свое мнение даже в том случае, когда оно противоречит в данный момент общественному мнению. К тому же после только что пережитых событий было бы трудно оспаривать у кого-нибудь право поддерживать свои политические взгляды при помощи возбуждения народа; в-третьих, если все действия его величества в последние 14 дней были совершены им вполне добровольно, чего ни ваш корреспондент, ни я не можем знать с уверенностью, то ради чего же сражались берлинцы? В таком случае борьба 18 и 19 [марта] была бы по мень-

шей мере бесцельна и излишня, а все кровопролитие – беспричинно и безрезультатно; в-четвертых, я полагаю, что выражу мнение значительного большинства дворянства, если скажу, что в такое время, когда дело идет о дальнейшем социальном и политическом существовании Пруссии, когда Германии угрожает раскол не в одном лишь направлении, – мы не располагаем ни временем, ни склонностью растрчивать наши силы на реакционные попытки или на защиту несущественных, еще оставшихся у нас поместных прав. Находя этот вопрос подчиненным, мы охотно готовы употребить наши силы на дело более достойное. Восстановление законного порядка в Германии, сохранение чести и целостности нашего отечества мы считаем единственной в настоящее время задачей всех, взгляды коих на наше политическое положение не извращены партийным пристрастием.

Я не имею никаких возражений против оглашения моего имени, если вы поместите вышеизложенное. Примите уверения в совершенном почтении, с коим имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугой.

Бисмарк.

Шенгаузен, близ Ерихова, 30 марта 1848 г.»

Считаю нужным заметить, что я с юности подписывал свою фамилию без «v.» и стал подписываться «v. В[ismarck]» лишь в 1848 г. в виде протеста против предложений об упразднении дворянства.

Следующая статья, набросок которой, сделанный моей рукой, сохранился, была написана, как показывает ее содержание, в период между вторым Соединенным ландтагом и выборами в Национальное собрание. В какой газете она была напечатана, установить не удалось.

«Из Альтмарка.

Часть наших сограждан, пользовавшихся при системе сословного деления большим представительством, а именно жители городов, начинают ощущать, что при новой системе выборов, когда городскому населению почти во всех округах придется конкурировать со значительно превышающим его по численности сельским населением, интересы горожан должны будут отступить перед нуждами огромной массы сельских жителей. Мы живем в эпоху материальных интересов, и когда новая конституция упрочится, когда происходящее сейчас брожение успокоится, борьба партий развернется вокруг того, должны ли государственные налоги взиматься соразмерно богатству, или они должны быть возложены преимущественно на всегда готовую к обложению землю, которая представляет самый удобный и самый надежный объект обложения и размер которой ни в малой степени не может быть угадан. Горожане, вполне естественно, стремятся держать сборщика податей подальше от фабричной промышленности, от городского домовладения, от рантье и капиталистов, они предпочитают, чтобы он взимал налоги с полей, лугов и их продуктов. Начало положено уже тем, что в городах, где до сих пор существовал налог на помол, низшие категории освобождены от нового прямого налога, тогда как в деревне крестьяне, как и раньше, платят поразрядный налог (Klassensteuer). Мы слышим, далее, что принимаются меры к поддержанию промышленности за счет государственной казны, но что-то не слышно о том, чтобы собирались прийти на помощь поселянину, который из-за военных перспектив на побережье не может по соответствующей цене сбыть свои продукты, но который вследствие необходимости покрытия ипотечной задолженности вынужден в наше безденежное время продать свой двор. Точно так же, когда говорят о косвенном обложении, мы слышим более о системе покровительственных таможенных тарифов, благоприятствующих отечественной промышленности и ремеслам, нежели о свободе торговли, которая нужна земледельческому населению. Повторяем, вполне естественно, что часть городского населения, учитывая упомянутые спорные вопросы, не пренебрегает никакими средствами, чтобы на предстоящих выборах обеспечить свои интересы и ослабить представитель-

ство сельских жителей. Весьма действенным рычагом для достижения этой цели являются попытки опорочить в глазах сельского населения тех из его представителей, которые по своему образованию и развитию с успехом могли бы защищать в Национальном собрании интересы земли; с этой целью стараются искусственно возбудить недовольство против помещиков-дворян (Rittergutsbesitzer); полагают, что если обезвредить этот класс, то сельским жителям придется избирать адвокатов и других горожан, которые не особенно заботятся об интересах деревни, либо же придут простые в своем большинстве деревенские люди, а их рассчитывают незаметно вести за собой в Национальном собрании с помощью красноречия и ловкой политики партийных руководителей. Поэтому существовавшее до сих пор дворянство стараются изобразить такими людьми, которые хотят возвратить и сохранить старый порядок, тогда как дворяне-помещики, как и любой разумный человек, полагают, что было бы бессмысленно и невозможно остановить поток времени или заставить его повернуть вспять. Стараются, далее, пробудить и укрепить на селе представление, что настало сейчас время освободиться безвозмездно от всех выкупных платежей, причитающихся помещикам; при этом, однако, замалчивают то обстоятельство, что правительство, которое хочет права и порядка, не может начать с того, чтобы ограбить один класс граждан в пользу другого, что все права, основанные на законе, судебном решении или договоре, все требования, которые один человек может предъявить другому, все права на ипотечные доходы и капиталы могут быть отняты у тех, кто ими владеет, с таким же правом, с каким у дворянских поместий собираются отнять их ренты без полного возмещения. Крестьянина обманывают, [отрицая], что у него с дворянином-помещиком общие интересы сельского хозяина и общий противник в лице добивающейся исключительного положения промышленной системы, которая протягивает свою руку к власти в Прусском государстве; если этот обман удастся, то будем надеяться, что не надолго и что быстрая отмена в законодательном порядке существовавших до сих пор политических прав дворян-помещиков раскроет сельскому населению глаза на то, как тонко его перехитрили умные горожане, раньше, чем придется платить, ибо тогда будет уже слишком поздно».

В те дни, когда собирался второй Соединенный ландтаг, Георг фон Финке, от имени своих товарищей по партии и, надо полагать, по поручению лиц более высокопоставленных, старался заручиться моим содействием для осуществления плана, согласно которому предполагалось через ландтаг побудить короля к отречению и, обойдя принца Прусского, но якобы с его согласия, установить регентство принцессы при ее несовершеннолетнем сыне. Я тотчас же отклонил это предложение и заявил, что если будет внесено предложение такого содержания, то я отвечу на него предложением возбудить судебное преследование за государственную измену. Финке защищал свое предложение как политически целесообразное, продуманное и подготовленное мероприятие. Принца ввиду его, к сожалению, незаслуженного прозвища Картечный принц он считал неподходящим и утверждал, будто письменное согласие принца имеется. При этом он имел в виду заявление рыцарски настроенного принца о готовности отказаться от наследственных прав, *если* тем самым можно защитить короля от грозящей ему опасности. Я этого заявления никогда не видел, и принц никогда мне об этом не говорил. Под конец господин фон Финке спокойно и легко оставил попытки привлечь меня на поддержку регентства принцессы, заметив, что без содействия крайних правых, представителем которых он меня считал, не удастся побудить короля к отречению. Беседа происходила у меня в «Hotel des Princes», в нижнем этаже направо, и обеими сторонами было сказано больше, чем можно изложить письменно.

Я никогда не говорил императору Вильгельму ни об этом случае, ни о тех высказываниях, которые мне пришлось слышать от его супруги в мартовские дни в Потсдамском дворце, и не знаю, говорили ли ему об этом другие; я молчал об этих фактах даже в такие времена, как четырехлетний конфликт, война с Австрией и времена «культуркампа», когда в лице коро-

левы Августы я должен был признать противника, подвергнувшего самому тяжелому за всю мою жизнь испытанию мои нервы и мою способность отстаивать то, что я почитал своим долгом.

Зато принцесса написала, вероятно, своему супругу в Англию, что я пытался проникнуть к нему, чтобы добиться его поддержки для контрреволюционного движения за освобождение короля, ибо, когда принц на обратном пути остановился, 7 июня, на несколько минут на Гентинском вокзале и я отошел подальше, так как не знал, захочет ли он в качестве «депутата от Вирцица» со мною видеться, он меня узнал в самых задних рядах публики, прошел через толпу стоявших передо мною, протянул мне руку и сказал: «Я знаю, что вы действовали в мою пользу, и никогда этого не забуду».

Первая моя встреча с ним произошла зимой 1834/35 г. на придворном балу. Я стоял рядом с господином фон Шак из Мекленбурга, который был такого же высокого роста, как я, и также носил мундир референдаря юстиции, – это дало принцу повод сказать в шутку, что юстиция подбирает себе ныне людей по гвардейской мерке. Затем, обратясь ко мне, он спросил, почему я не стал военным. «У меня было такое желание, – ответил я, – но родители мои были против этого, так как перспективы слишком неблагоприятны». Принц на это сказал: «Карьера действительно не блестящая, но и служба в юстиции – тоже». Во время первого Соединенного ландтага, в котором принц участвовал как член курии господ, он неоднократно на соединенных заседаниях беседовал со мной в таком тоне, который свидетельствовал о том, что он одобрял занимаемую мною тогда политическую позицию.

Вскоре после встречи в Гентине он пригласил меня в Бабельсберг. Я рассказал ему подробности мартовских событий – частью то, что я сам пережил, частью то, что слышал от офицеров и что касалось в частности настроения, в каком войска отступили из Берлина; это настроение выразилось в горькой песне, которую они распевали в походе. У меня хватило жестокости прочитать ему это стихотворение, показательное в историческом отношении для настроения войск, отступавших согласно приказу из Берлина.

Он так при этом разрыдался, как это было при мне лишь еще раз, когда я в Никольсбурге оказал ему сопротивление по вопросу о продолжении войны.

Принцесса, его супруга, относилась ко мне до назначения моего во Франкфурт настолько милостиво, что приглашала меня иногда в Бабельсберг, чтобы я выслушивал ее политические взгляды и пожелания, изложение которых она обычно заключала словами: «Я рада, что слышала ваше мнение», хотя при этом у меня не было возможности его высказать. Будущий император Фридрих, которому было в то время лет 18–19 – но выглядел он моложе, – выражал мне обыкновенно в этих случаях свои политические симпатии тем, что вечером, когда я, уезжая, садился в экипаж, он в потемках дружески приветствовал меня крепким рукопожатием, как если бы открытое изъявление его взглядов при свете дня не было ему дозволено.

III

В последние два десятилетия царствования Фридриха-Вильгельма III тяга к германскому единству находила свое внешнее выражение лишь в форме студенческих корпоративных стремлений, вызывавших соответствующие репрессии. Немецкое, или, как он писал, «тевтонское» («*teutsches*») национальное чувство было у Фридриха-Вильгельма IV сердечнее и живее, чем у его отца, но его проявление тормозилось из-за пристрастия короля к средневековым формам и из-за того, что он не любил принимать ясные и твердые решения в своей практической деятельности. Поэтому он упустил благоприятный момент в марте 1848 г., – и это был не единственный упущенный случай. В промежутке между южногерманскими революциями, в том числе и в Вене, и событиями 18 марта, когда было очевидно, что из всех германских государств, включая и Австрию, устояла только одна Пруссия, германские князья готовы были явиться в Берлин и искать там защиты на условиях, которые шли в направлении объединения

гораздо дальше того, что осуществлено сейчас. Даже баварское самосознание было поколеблено. Если бы дело дошло до конгресса [германских] князей, который на основе декларации прусского и австрийского правительств от 10 марта должен был собраться 20 марта в Дрездене, то, судя по настроению причастных к этому дворов, можно было ожидать такой же готовности к жертвам на алтарь отечества, какая была проявлена французами 4 августа 1789 г. Это мнение соответствовало фактическому положению дел; в военном отношении Пруссия была достаточно сильна, чтобы остановить революционную волну и предоставить остальным немецким государствам такие гарантии порядка и законности на будущее время, которые казались тогда приемлемыми остальным династиям.

События 18 марта послужили доказательством того, как опасно может быть вмешательство грубой силы даже для тех целей, которые должны быть достигнуты с ее помощью. Между тем к утру 19 марта еще ничего не было потеряно. Восстание было подавлено. Его вожаки, в числе их знакомый мне еще по университету ассессор Рудольф Шрамм, бежали в Дессау; первое известие об отступлении войск они приняли за полицейскую уловку и вернулись в Берлин лишь после того, как получили газеты. Я думаю, что если бы эта победа – единственная в то время победа, одержанная европейским правительством над мятежниками, – была использована умно и с твердостью, достигнутое в таком случае германское единство было бы более полным, чем это в конце концов произошло тогда, когда я участвовал в правительстве. Что было бы лучше и прочнее, – этот вопрос я оставляю открытым.

Если бы король окончательно подавил в марте [берлинское] восстание и не допустил его возобновления, то после крушения Австрии император Николай не препятствовал бы нам при создании новой устойчивой организации Германии. Его симпатии сначала склонялись скорее к Берлину, чем к Вене, хотя Фридрих-Вильгельм IV лично не пользовался – да при различии характеров и не мог пользоваться – этими симпатиями.

Когда король проезжал 21 марта по улицам Берлина под знаменами студенческих корпораций, это меньше всего могло содействовать восстановлению того, что было утрачено с точки зрения и внутренних и внешних отношений. Дело обернулось таким образом, что король оказался уже во главе не своих войск, а во главе баррикадных борцов, тех непокорных масс, перед угрозами которых [германские] князья несколько дней назад искали у него защиты. После столь недостойного шествия пришлось отказаться представить дело, как будто перенесение намеченного съезда князей из Дрездена в Потсдам является единственным последствием мартовских событий.

Мягкость, с которой Фридрих-Вильгельм IV под давлением непрошенных, а быть может, и предательских советчиков, уступая женским слезам, хотел завершить победу, одержанную в кровопролитном столкновении в Берлине, приказав своим войскам отказаться от победы, принесла вред дальнейшему развитию нашей политики прежде всего в том отношении, что была упущена благоприятная возможность. Другой вопрос – долго ли оставался бы успех на стороне короля, если бы он удержал и использовал победу своих войск. Во всяком случае король не был бы тогда в таком угнетенном настроении, в каком я застал его во время второго Соединенного ландтага, наоборот: под влиянием победы у него наблюдался бы усиленный подъем красноречия, как это было, например, в 1840 г., когда принималась присяга на верность, в Кельне в 1842 г. и в других случаях. Я не берусь судить, какое влияние на поведение короля, [на] романтику средневековых имперских воспоминаний об Австрии и князьях и [на] столь сильное до и после этого самосознание князей внутри страны оказало бы сознание [короля], что он окончательно расправился с мятежом, [не] победившим лишь его одного на всей нерусской части континента. То, что было бы завоевано в уличных боях, было бы достижением иного рода и меньшей значимости, чем то, что было завоевано позднее на полях сражений. Может быть, для нашего будущего было и лучше, что нам пришлось блуждать в пустыне внутренней

борьбы с 1848 по 1866 г., подобно евреям, прежде чем они достигли страны обетованной. Вряд ли удалось бы нам избежать войн 1866 и 1870 гг., после того как наши соседи, силы которых в 1848 г. были подорваны, с помощью Парижа, Вены и еще кого-нибудь снова воспряли и окрепли бы. Представляется сомнительным, чтобы при развитии по более короткому и быстрому пути мартовской победы 1848 г. влияние исторических событий на немцев было бы таким же, как сейчас; когда создается впечатление, что династии – и как раз те, которые в прошлом были настроены особенно партикуляристски, – относятся к империи более дружелюбно, чем фракции и партии.

Мое первое посещение Сан-Суси произошло при неблагоприятных обстоятельствах. В первых числах июня, за несколько дней до отставки министра-президента Лудольфа Кампгаузена, я находился в Потсдаме; ко мне в гостиницу явился лейб-егерь с уведомлением, что король желает со мной говорить. Под влиянием моих тогдашних фрондистских настроений я сказал, что, к сожалению, не могу исполнить приказания его величества, так как собираюсь ехать домой и жена моя, здоровье которой требует особо бережного отношения, будет волноваться, если я задержусь дольше, чем это было условлено. Немного погодя явился флигель-адъютант Эдвин фон Мантейфель, повторил предложение в форме приглашения к столу и сказал, что король предоставляет в мое распоряжение фельдъегеря, чтобы известить мою жену. Мне ничего не оставалось, как отправиться в Сан-Суси. Общество за обедом было очень небольшое: насколько я помню, кроме дам и свиты были только Кампгаузен и я. После обеда король повел меня на террасу и дружески спросил: «Как ваши дела?» С раздражением, которое я таил в себе с мартовских дней, я ответил: «Плохо». На это король: «Я думаю, что настроение у вас должно быть хорошее». Под впечатлением указов, содержания которых точно не припомню, я ответил: «Настроение было прекрасное, но оно испортилось с тех пор, как королевскими властями, за королевской печатью нам была привита революция. Нет уверенности в поддержке со стороны короля». В этот момент из-за кустов показалась королева и сказала: «Как смеете вы так говорить с королем?» – «Оставь меня, Элиза, – сказал король, – я уж сам с ним справлюсь. В чем же, собственно, вы меня упрекаете?» – обратился он ко мне. «В том, что вывели войска из Берлина». – «Я этого не хотел», – возразил король. А королева, которая еще находилась на таком расстоянии, что могла слышать нас, добавила: «В этом король совсем не виноват, он трое суток не спал». – «Король должен уметь спать», – заметил я. Не смущаясь этим резким ответом, король сказал: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее; какая была бы польза, если бы я признал, что действовал, “как осел”? Упреки – плохое средство для того, чтобы восстановить пошатнувшийся престол; мне нужна для этого поддержка и действенная преданность, а не критика». Доброта, с какой было сказано это и прочее, покорила меня. Я явился к нему в настроении фрондера, которому совершенно безразлично, если его весьма немилостиво выпроводят вон, а ушел совершенно обезоруженный и покоренный.

На мое замечание, что он является господином страны и обладает властью, чтобы повсюду восстановить находящийся под угрозой порядок, король сказал, что он должен остерегаться сходить с пути формальной законности. Если бы он захотел порвать с Берлинским собранием, «парламентом поденщиков», как его называли тогда в известных кругах, то для этого нужно, чтобы на его стороне было формальное право, иначе его предприятие будет покоиться на непрочной основе и вся монархия окажется под угрозой не только со стороны внутренних движений, но и извне. Возможно, что он имел при этом в виду войну с французами в обстановке восстаний в Германии. Мне кажется, однако, более вероятным, что в тот момент, когда он хотел заполучить мои услуги, он именно мне не пожелал выразить опасения, что его общегерманские перспективы повредят Пруссии. Я возразил, что при настоящем положении формальное право и его границы весьма неясны и что противники, если бы они имели власть, так же мало церемонились бы с ним, как и 18 марта; я рассматриваю положение скорей с точки зрения войны и вынужденной обороны, нежели с точки зрения юридической аргументации.

Король все же настаивал на том, что его положение будет слишком неустойчиво, если он сойдет с почвы законности, и у меня осталось впечатление, что вопрос о возможности восстановления порядка в Пруссии он подчинял на первых порах черно-красно-золотому, как тогда говорили, направлению мысли, которое поддерживал в нем Радовиц.



Супруга Отто фон Бисмарка – Иоганна Фридерика Шарлотта Доротея Элеонора фон Путткамер (1824—894)

Из многочисленных бесед с королем, которые последовали за этой первой беседой, мне запомнились следующие его слова: «Я хочу повести борьбу против тенденций Национального

собрания, но как бы я ни был убежден в своих правах, при нынешнем положении вещей, у меня нет уверенности, что другие, а также в конечном счете и широкие массы, разделяют это убеждение. Чтобы я мог быть вполне уверен в этом, [Национальное] собрание должно в еще большей мере сойти с почвы права, и притом в таких вопросах, где мое право защищаться силой было бы вполне ясно не только мне, но и всем вообще».

Мне так и не удалось убедить короля в том, что его сомнения относительно [реальности] своей власти неосновательны и что поэтому все сводится к тому – верит ли он в свое право, когда хочет обороняться против недопустимых посягательств собрания. Моя правота была вскоре подтверждена тем, что перед лицом больших и малых восстаний любое военное распоряжение проводилось беспрекословно и ревностно, и притом даже в таких условиях, когда соблюдение воинской дисциплины было с самого начала связано с подавлением уже начавшегося вооруженного сопротивления. Между тем роспуск собрания, коль скоро деятельность его была бы признана опасной для государства, не возбудил бы в рядах войск вопроса об обязательном выполнении военного приказа. Точно так же вступление большого количества войск в Берлин после штурма цейхгауза и подобных событий было бы понято не только солдатами, но и большинством населения (если не говорить о меньшинстве, игравшем руководящую роль) как заслуживающее признательности использование несомненного королевского права; и если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Мне трудно допустить мысль, чтобы летом король мог сомневаться в том, имеет ли он достаточно материальных сил, чтобы положить конец революции в Берлине. Скорее я могу предположить, что у него были задние мысли: [с одной стороны], – нельзя ли будет при каком-либо стечении обстоятельств использовать, прямо или косвенно, Берлинское собрание и примирение с ним и его правовой основой, – будь то в комбинации с Франкфуртским парламентом или против него, будь то для оказания давления в германском вопросе в других направлениях; [а с другой стороны], – не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения. Шествие под немецкими знаменами я, конечно, не приписываю таким наклонностям короля: он был тогда физически и душевно так потрясен, что не мог оказать достаточно сопротивления тем требованиям, которые ему настойчиво предъявлялись.

Бывая в Сан-Суси, я познакомился там с людьми, пользовавшимися доверием короля также и в политических вопросах, и по временам встречался с ними в кабинете. Из них назову в особенности генералов Леопольда фон Герлаха и фон Рауха, позднее Нибура – советника кабинета.



Граф Фридрих Вильгельм фон Бранденбург (1792–850) – прусский генерал кавалерии и государственный деятель

Раух был практичней; Герлах страдал тем, что склонен был при решении актуальных вопросов увлекаться остроумными обобщениями. Он был благородной натурой, [человеком] широкого размаха, но не таким фанатиком, как его брат, президент Людвиг фон Герлах; в обыденной жизни он был скромн и беспомощн, как дитя, но политик он был смелый, с широким кругозором, ему мешала только его флегматичность. Я помню, как мне пришлось однажды в присутствии обоих братьев, президента и генерала, следующим образом высказаться по поводу сделанного им упрека в непрактичности: «Если бы мы втроем увидели сейчас в окно, что на

улице произошел несчастный случай, то господин президент пустился бы в связи с этим в остроумные рассуждения о недостатке в нас веры и о несовершенстве наших учреждений; генерал сказал бы в точности, что следовало сделать, чтобы помочь беде, но не двинулся бы с места; и только я вышел бы на улицу или позвал бы людей на помощь». Таков был генерал, влиятельнейший политический деятель среди камарильи Фридриха-Вильгельма IV: человек благородного и самоотверженного характера, верный слуга короля, но ни морально, ни, может быть, даже и физически – из-за своей тучности – неспособный быстро осуществлять свои правильные идеи. В те дни, когда король был несправедлив или немилостив к нему, в доме генерала на вечерней молитве можно было, вероятно, слышать старую церковную песнь:

Князьям не доверяйся, друг, —
Изменчивы они:
Провозгласят «Осанна» вдруг,
На завтра же – «Распни!».

Но его преданность королю нисколько не умалялась этим христианским изливанием недовольства. Он душой и телом стоял за короля, даже в тех случаях, когда тот, по его мнению, заблуждался. В конце концов он почти добровольно поплатился за это жизнью. В очень холодный и ветреный день он шел за гробом своего короля с обнаженной головой, держа каску в руке. Это последнее формальное выражение преданности старого слуги праху своего короля подорвало его и без того слабое здоровье: он заболел рожей лица и через несколько дней умер. Его смерть заставляет вспомнить дружинников древнегерманского князя, добровольно умиравших вместе с ним.

Таким же, как Герлах, и, быть может, еще большим влиянием на короля пользовался в 1848 г. Раух. Весьма одаренный человек, воплощение здравого смысла, смелый и честный, без школьного образования, с устремлениями настоящего прусского генерала в лучшем смысле этого слова, он неоднократно выступал на дипломатическом поприще в качестве военного атташе в Петербурге. Однажды Раух явился в Сан-Суси с устным поручением министра-президента графа Бранденбурга испросить решение короля по одному важному вопросу. Королю это решение стоило больших усилий, и он никак не мог дать окончательного ответа. Тогда Раух достал из кармана часы и, посмотрев на циферблат, сказал: «Сейчас остается еще двадцать минут до отхода моего поезда. Ваше величество должны будете все же приказать, должен ли я передать графу Бранденбургу “да” или “нет” или я должен буду доложить ему, что ваше величество не хотите сказать ни “да”, ни “нет”». Эти слова были произнесены в раздраженном тоне, смягченном воинской дисциплиной, и в них выражалось недовольство, понятное у твердого и решительного генерала, утомленного продолжительной и бесплодной дискуссией. Король сказал: «Ну, так и быть, да». После этого Раух поспешно удалился, чтобы поскорее добраться через город к вокзалу. Постояв несколько минут в задумчивости, как бы взвешивая последствия принятого против воли решения, король, обращаясь к Герлаху и ко мне, сказал: «Ох уж этот Раух! Он не умеет правильно говорить по-немецки, но у него больше здравого смысла, чем у всех нас». И после этого, уходя из комнаты и обращаясь к Герлаху, он прибавил: «А умнее вас во всяком случае». Не знаю, прав ли был король в этом случае: Герлах был умнее, Раух практичнее.

IV

Развитие событий не дало возможности использовать Берлинское собрание для германского дела, между тем недопустимые посягательства все росли; поэтому зародилась мысль перевести собрание в другой город, чтобы избавить его депутатов от давления и запугивания,

а возможно, и распустить его. Но тут возникло затруднение с созданием министерства, которое взялось бы провести это мероприятие. Уже с момента открытия собрания королю вообще было не легко подыскивать министров, в особенности же таких, которые были бы послушны его довольно изменчивым взглядам и чья бесстрашная непреклонность служила бы гарантией, что в решительный момент они не спасуют. Мне памятливы многие неудачные попытки, предпринимавшиеся в начале года. Георг фон Финке, когда я позондировал у него почву, ответил мне, что он человек «красной земли», предрасположенный к критике и оппозиции, а не к роли министра. Бекерат соглашался взять на себя образование министерства только в том случае, если крайние правые безоговорочно пойдут за ним и обеспечат ему поддержку короля. Люди, пользовавшиеся влиянием в Национальном собрании, не хотели портить себе виды на будущее, когда после восстановления законного порядка они смогли бы войти и остаться в конституционном министерстве, опирающемся на большинство. Гаркорт, который намечался на пост министра торговли, выразил между прочим мнение, что восстановление порядка должно быть осуществлено деловым министерством в составе чиновников и военных прежде, чем верные конституции министры смогут принять у него дела; позднее они согласились бы на это.

Нежелание брать министерские посты усиливалось представлением, что это связано с личной опасностью, так как были уже случаи, когда консервативные депутаты подвергались избиениям на улице. При тех привычках, которые усвоила себе уличная толпа, и при том влиянии, каким пользовались у нее депутаты крайней левой, приходилось ожидать и больших эксцессов, в случае если правительство попытается оказать сопротивление демократическому натиску и взять более твердый курс.

Когда граф Бранденбург, равнодушный к этим опасениям, заявил о своей готовности стать министром-президентом, надо было подыскать ему подходящих и приемлемых коллег. В списке, представленном королю, стояло и мое имя; против него, как рассказывал мне Герлах, была сделана королем помета: «Может быть использован лишь при неограниченном господстве штыка»⁶. Сам граф Бранденбург сказал мне в Потсдаме: «Я взял на себя это дело, но я и газет-то по-настоящему не читал, незнаком с вопросами государственного права и неспособен ни на что другое, как только рисковать головой. Мне нужен “корнак”, человек, которому я доверял бы и который говорил бы мне, что я должен делать. Я принимаюсь за это дело, как ребенок, блуждающий впотьмах; но я не знаю никого, кроме Отто Мантейфеля (директор в министерстве внутренних дел), который имеет надлежащую подготовку и которому я лично доверяю, но он все еще колеблется. Если он захочет, я завтра же пойду в собрание, если он откажется, нам придется подождать и поискать другого. Поезжайте в Берлин и уговорите Мантейфеля». Мне это удалось сделать, после того как я уговаривал его с 9 часов до полуночи и обещал уведомить его жену, которая находилась в Потсдаме. Вместе с тем я рассказал ему о мерах, принятых для охраны личной безопасности министров в здании театра и по соседству с ним.

9 ноября рано утром ко мне явился назначенный военным министром генерал фон Строта; его направил ко мне Бранденбург, чтобы я разъяснил ему положение. Я по возможности выполнил это и спросил его: «Вы готовы?» Он ответил мне вопросом на вопрос: «Как уговорились одеться?» – «В штатское», – сказал я. «Штатского костюма у меня нет», – заметил он. Я предоставил в его распоряжение слугу, и ему удалось еще до назначенного часа купить в магазине готового платья костюм. Для охраны министров были приняты некоторые меры предосторожности. Прежде всего в здании театра кроме усиленного наряда полиции было размещено около 30 лучших стрелков гвардейского егерского батальона; по условленному сиг-

⁶ Слова Герлаха заслуживают, по моему мнению, большего доверия, нежели тот источник, коим пользовался граф Фицтум фон Экштедт (Berlin und Wien, S. 247), который следующим образом передает помету на полях: «Заядлый реакционер, пахнет кровью, использовать *позднее*».

налу они должны были появиться в зале и на галереях и защитить своими исключительно меткими выстрелами министров, если бы последним угрожало физическое насилие. Можно было рассчитывать, что при первых выстрелах присутствующие быстро очистят зал. Соответствующие приготовления были сделаны в окнах здания театра, а также в различных зданиях на Жандарменмаркт с целью оградить министров при возвращении из театра от возможных враждебных нападений. Предполагалось, что и более многочисленная толпа, которая могла бы там собраться, рассеется, как только с различных сторон раздадутся выстрелы.

Господин фон Мантейфель обратил внимание еще на то, что вход в театр с узкой в том месте Шарлоттен-штрассе остается неприкрытым. Я предложил разместить солдат в расположенной напротив квартире графа Книпгаузена, ганноверского посланника, находящегося в отпуске. С этой целью я еще ночью отправился в военное министерство к полковнику фон Грисхейму, на которого было возложено осуществление военных мероприятий; он, однако, выразил сомнение по поводу того, можно ли воспользоваться для этой цели зданием дипломатической миссии. Тогда я отправился к ганноверскому поверенному в делах графу Платену, который проживал на Унтер-ден-Линден в доме, принадлежавшем ганноверскому королю. Он был того мнения, что официальным помещением миссии в данный момент должна считаться его квартира на Унтер-ден-Линден, и уполномочил меня написать полковнику фон Грисхейму, что он предоставляет квартиру «своего отсутствующего друга» графа Книпгаузена в распоряжение полиции. Я лег спать поздно, но в 7 часов утра меня уже разбудил посыльный от графа Платена, который просил заехать к нему. Я застал его в большом раздражении, так как оказалось, что отряд около 100 человек занял двор *его* дома, т. е. как раз того дома, на который он указал, как на помещение миссии. По-видимому, Грисхейм, получив мое сообщение, передал приказ какому-нибудь чиновнику, из-за которого и вышло это недоразумение. Я пошел к нему и добился приказа начальнику отряда занять квартиру Книпгаузена. Это и было исполнено, когда уже совсем рассвело, между тем как занятие остальных намеченных зданий было выполнено незаметно, ночью. Возможно, именно эта случайно обнаружившаяся решимость привела к тому, что, когда министры направлялись в здание театра, Жандарменмаркт был совершенно пуст.

Когда Врангель (10 ноября) выступил во главе войск, он начал переговоры с гражданской гвардией и уговорил ее добровольно отступить. Я считал это политической ошибкой; если бы дело дошло хотя бы до самой небольшой стычки, то Берлин был бы занят не в результате капитуляции, а силой, и тогда политическое положение правительства было бы иным. Тот факт, что король не сразу распустил Национальное собрание, а лишь отложил его заседания на некоторое время, что он перевел его в Бранденбург и сделал попытку получить там большинство, с которым можно было бы добиться удовлетворительного соглашения, – этот факт доказывает, что в политическом развитии, как оно, по-видимому, представлялось королю, роль Национального собрания и тогда еще не была сыграна до конца. Некоторые признаки, которые приходят мне на память, говорят о том, что такая роль отводилась Национальному собранию на поприще германского вопроса. В частных беседах влиятельных политических деятелей во время перерыва заседаний собрания германский вопрос в большей мере, чем прежде, выдвигался на передний план, в министерских кругах в этом отношении возлагались большие надежды на саксонца фон Карловича, признанное красноречие которого должно было подействовать в немецко-национальном духе. Какой точки зрения придерживался в германском вопросе граф Бранденбург, об этом он мне тогда не говорил. Он лишь выражал готовность выполнить с солдатской беспрекословностью все, что прикажет король. Позднее в Эрфурте он беседовал со мной об этом более откровенно.

Глава третья Эрфурт, Ольмюц, Дрезден

I

В неудачах нашей политики после 1848 г. повинна не столько затаенная германская идея Фридриха-Вильгельма IV, сколько его слабость. Король надеялся, что то, к чему он стремился, исполнится таким образом, что ему не придется поступиться при этом своими легитимистскими традициями. Если бы кроме того, чем Пруссия владела до 1848 г., король не стремился ни к чему более – даже к *mention honorable* [лестному упоминанию] в истории, как можно было предположить на основании речей 1840 и 1842 гг.; если бы у короля не было никаких целей и склонностей, для осуществления которых нужна была известная популярность, – что помешало бы ему в таком случае выступить – после того как министерство Бранденбурга упрочилось – против революционных приобретений в пределах Пруссии подобным же образом, как он выступил против Баденского восстания и сопротивления отдельных прусских провинциальных городов. Ход этих восстаний показал тем, кто этого еще не знал, что на армию можно было положиться: в Бадене свой долг исполнил по мере сил ландвер даже из тех округов, которые считались ненадежными. Несомненно, не исключена была возможность военной реакции, возможность – при октроировании конституции – большего заострения в монархическом духе положенного в основу конституции бельгийского образца. Желание использовать эту возможность отступало, вероятно, в душе короля перед опасением потерять то расположение национально настроенных и либеральных кругов, с помощью которых король надеялся добиться для Пруссии главенства в Германии без войны и путем, не противоречившим его легитимистским идеям.

Эта надежда или ожидание, которые вплоть до «новой эры» робко выражались в фразах о германской миссии Пруссии и о моральных завоеваниях, основывались на двойном заблуждении, которое с марта 1848 г. до весны следующего года играло решающую роль как в Сан-Суси, так и в церкви Св. Павла; речь идет о *недооценке* жизненной силы немецких династий и подвластных им государств и о *переоценке* тех сил, которые можно обозначить словом «баррикада», понимая под этим словом все подготовляющие баррикаду моменты, агитацию и *угрозу* уличных боев. Не в самой баррикаде заключалась опасность переворота, а в страхе перед ней. Более или менее феакийские правительства были разбиты в марте, еще до того как они обнажили шпагу, – частью вследствие *страха* перед врагом, частью в результате тайного сочувствия врагу со стороны их чиновников. Во всяком случае королю Пруссии во главе князей было бы легче, использовав победу войск в Берлине, восстановить германское единство, чем впоследствии [собранию] в церкви Св. Павла. Трудно, конечно, судить, не помешали ли бы своеобразные качества короля, даже при закреплении этой победы, восстановлению такого единства и не сделали ли бы они его снова непрочным после восстановления, как этого в марте опасался Бодельшвинг. Как об этом свидетельствуют заметки Леопольда фон Герлаха и другие источники, у короля в последние годы его жизни снова выступила на передний план его первоначальная антипатия к конституционным порядкам и убеждение в необходимости предоставления королевской власти большей свободы действий, чем это предусмотрено прусской конституцией. Мысль заменить конституцию «королевской хартией» была у короля еще во время его последней болезни.

Находясь в плену все того же двойного заблуждения, Франкфуртский парламент рассматривал *династические* вопросы как нечто уже преодоленное и со свойственной немцам теоре-

тической энергией применял эту точку зрения и к Пруссии и к Австрии. Те депутаты, которые могли дать во Франкфурте достоверные сведения о настроениях в прусских провинциях и немецких областях Австрии, были отчасти заинтересованы в том, чтобы замалчивать истину; добросовестно или нет, но парламент находился в заблуждении насчет того факта, что в случае противоречия между постановлением Франкфуртского парламента и указом прусского короля парламентское решение у семи восьмых населения Пруссии будет иметь ничтожный вес или же не будет иметь никакого веса. Тот, кто жил тогда в наших восточных провинциях, еще и сейчас помнит, что все те элементы, в чьих руках находилась материальная власть, все те, кому предстояло в случае конфликта руководить или командовать вооруженными силами, относились к деятельности Франкфуртского парламента не с той серьезностью, какой можно было бы ожидать, судя по достоинству собравшихся во Франкфурте научных и парламентских величин. Если бы последовал монарший указ, призывающий кулаки масс на помощь государю, то он возымел бы тогда достаточное действие, и не только в Пруссии, но и в крупных второстепенных государствах [Германии]; не везде это произошло бы в такой степени, как это имело место в Пруссии, но все же везде в достаточной степени с точки зрения потребностей материальной полицейской силы, если бы только князья имели мужество назначать министров, которые твердо и недвусмысленно защищали бы их интересы. В Пруссии летом 1848 г. этого не было; однако как только в ноябре король решился назначить министров, готовых защищать права короны, невзирая на парламентские решения, все наваждение исчезло, и оставалась только опасность, как бы реакция не вышла за пределы разумного. В остальных северогерманских государствах дело не дошло даже до таких конфликтов, с какими пришлось бороться в некоторых провинциальных городах министерству Бранденбурга. В Баварии и Вюртемберге вопреки министрам, враждебным королевской власти, последняя в конце концов также оказалась сильнее революции.

Когда 3 апреля 1849 г. король отклонил императорскую корону, но заявил, что решение Франкфуртского парламента дает ему «право притязания», значение которого он умеет ценить, – его побудило к этому главным образом революционное или, во всяком случае, парламентское происхождение этого предложения и отсутствие у Франкфуртского парламента публично-правовых полномочий при недостаточной поддержке династий. Но если бы даже не было всех этих недостатков или король их не заметил бы, при нем едва ли можно было ожидать того развития и укрепления имперских учреждений, которое имело место при императоре Вильгельме. Войн, которые вел последний, нельзя было избежать; только их пришлось бы вести *после* установления империи, как следствие этого установления, а не *до* этого, подготавливая и строя империю. Я не знаю, можно ли было бы побудить Фридриха-Вильгельма IV своевременно вести эти войны; это было трудно даже в отношении его брата, у которого преобладала военная жилка и чувства прусского офицера.

Отмечая, что тогдашняя Пруссия в личном и деловом отношении не созрела для принятия на себя руководства Германией в военное и мирное время, я этим вовсе не хочу сказать, что в то время я видел это с такой ясностью, как теперь, оглядываясь назад, на развитие событий за 40 лет. Мое тогдашнее чувство удовлетворения по поводу отказа короля от императорской короны основывалось не на приведенной выше оценке его личности, а скорее на большей щепетильности в отношении престижа прусской короны и ее носителя, но еще больше – на инстинктивном недоверии к развитию событий после баррикад 1848 г. и их парламентских последствий. В отношении последних у меня и у моих политических друзей создалось впечатление, что руководящие лица в парламенте и печати, частью сознательно, большей частью несознательно, поддерживали и выполняли программу «все должно быть разрушено» и что тогдашние министры – не те люди, которые могли руководить движением или сдерживать его. Моя точка зрения по этому вопросу в основном не отличалась тогда от присущих еще в настоящее время членам парламентских фракций взглядов, основанных на приверженности к друзьям

и недоверии или враждебности к противникам. В жизни фракций еще и теперь господствует убеждение, что противнику во всем, что бы он ни предпринимал, свойственна в лучшем случае ограниченность, а вероятнее всего, злонамеренность и бессовестность; господствует также нежелание расходиться в мнениях и рвать с товарищами по фракции; в то время убеждения, на которых основаны такие опасные для жизни государства явления, были значительно живее и честнее, чем в настоящее время. Противники мало знали тогда друг друга; с тех пор, за 40 лет, они имели возможность ближе узнать друг друга, ибо персональный состав партийных руководителей меняется обычно медленно и незначительно. Тогда обе стороны действительно считали друг друга либо глупыми, либо дурными людьми, действительно имели те чувства и убеждения, которыми они в настоящее время лишь *маскируются* с целью влиять на избирателей и на монарха, потому что эти чувства и убеждения составляют часть программы, во имя которой люди стали служить определенной партии, «попали» в нее, поверив в ее правоту и доверившись ее вождям. Политический карьеризм играет в настоящее время большую роль в жизни и деятельности фракций, чем 40 лет назад; тогда убеждения были искреннее и бесхитростнее, хотя страсти, ненависть и взаимное недоброжелательство фракций и их вождей, готовность жертвовать интересами страны ради фракционных интересов развиты в настоящее время, вероятно, сильнее. *En tout cas le diable n'y perd rien* [при всех обстоятельствах чёрт ничего не теряет]. Правда, византизм и лицемерная спекуляция на симпатиях короля имели некоторое распространение среди небольшой части высших кругов, но в парламентских фракциях борьба за милость двора еще не была в ходу; вера в могущество королевской власти в большинстве случаев ошибочно расценивалась ниже, чем вера в собственное значение; ничего так не боялись, как прослыть раболепствующими или прислуживающимися. Одни стремились по собственному убеждению укреплять и поддерживать королевскую власть, другие полагали, что благо их самих и страны состоит в борьбе против короля и в его ослаблении; это доказывает, что если не мощь, то по крайней мере вера в мощь королевской власти в Пруссии была тогда слабее, чем в настоящее время. Недооценка могущества короны не изменилась и после того, как оказалось достаточно личной воли такого не очень сильного в волевом отношении монарха, как Фридрих-Вильгельм IV, чтобы отклонением императорской короны обезглавить германское движение; не изменилась она и в результате того, что вспыхивавшие вслед за этим спорадические восстания, имевшие целью добиться осуществления национальных стремлений, были легко подавлены королевской властью.

Благоприятное положение, создавшееся для Пруссии в короткий период между падением князя Меттерниха в Вене и выводом войск из Берлина, снова, хотя и в более слабой степени, оказалось налицо, когда выяснилось, что король и его армия, несмотря на все допущенные ошибки, еще достаточно сильны, чтобы подавить восстание в Дрездене и осуществить Союз трех королей. Тогда, пожалуй, можно было бы быстро использовать положение в национальных интересах, однако при условии ясной практической цели и решительных действий. Ни того, ни другого не было. Драгоценное время растрачивалось на разговоры о подробностях будущей конституции, среди которых одним из важнейших был вопрос о праве германских князей иметь дипломатическое представительство наряду с представительством Германской империи. В то время я отстаивал в тех придворных кругах, в которых вращался, и среди депутатов ту точку зрения, что право дипломатического представительства не имеет того значения, которое ему придается, и зависит от влияния отдельных государей Германского союза в империи или за границей. Если политическое влияние такого государя ничтожно, то его дипломатические миссии за границей не в состоянии будут ослабить впечатление о единстве империи. Если же влияние его на вопросы войны и мира, на политическое и финансовое руководство империей или на решения иностранных дворов останется достаточно сильным, тогда не будет средств воспрепятствовать тому, чтобы его корреспонденция или какие-нибудь более или менее влия-

тельные частные лица – вплоть до интернациональных зубных врачей – не были использованы для политических переговоров.

В то время мне казалось более полезным вместо теоретических разглагольствований о параграфах конституции выдвигать на авансцену имеющуюся налицо жизнеспособную прусскую военную силу, как это было сделано при подавлении восстания в Дрездене и как это могло быть сделано в остальных германских государствах. События в Дрездене показали, что дисциплина и верность саксонских войск оставались непоколебимыми, поскольку прусские подкрепления обеспечивали устойчивость военного положения. Точно так же в боях во Франкфурте гессенские, а в Бадене мекленбургские войска доказали, что на них можно положиться, как только они получили уверенность, что ими планомерно руководят, и убедились в единстве командования и как только им перестали внушать, что они должны допускать, чтобы на них нападали, и не [должны] обороняться. Если бы тогда Берлин своевременно и в достаточных размерах пополнил нашу армию и взял на себя без всякой задней мысли руководство военными операциями, то я не знаю, что могло бы оправдать сомнения в благоприятном исходе дела. Ситуация не была такой безукоризненно ясной с точки зрения права и нравственности, как в начале марта 1848 г., но политически она все еще не была неблагоприятной.

Когда я говорю о задних мыслях, то имею в виду боязнь потерять сочувствие и популярность родственных династий, парламентов, историков и ежедневной печати. За выражение общественного мнения принималось тогда веяние дня, наиболее шумно выступающее в прессе и в парламентах, но не отражающее настроения народа, а между тем от этого настроения зависело, откликнутся ли массы на призывы, идущие сверху по естественным каналам. Духовная потенция верхних десяти тысяч в прессе и на трибуне поддерживается и определяется слишком большим многообразием скрещивающихся стремлений и сил; поэтому правительства могут руководствоваться ею в своем поведении только до тех пор, пока евангелия ораторов и писателей, завоевывая массы, не превращаются также в материальные силы, о которых сказано: «В пространстве ж вещь всегда помеха вещи». Когда же это происходит, наступает *vis major* [действие непреодолимых обстоятельств], с которым политике приходится считаться. Пока нет налицо этого действия, проявляющегося обычно не скоро, пока в крупных центрах шумят лишь люди *regum poverum cupidum* [жаждущих переворота], а также пресса и парламент с их склонностью к бурному выражению чувств, – до тех пор для реального политика остается в силе соображение Кориолана о народных движениях, хотя тот при этом не принимал во внимание типографскую краску. В то время, однако, руководящие круги Пруссии давали себя оглушать шумом больших и малых парламентов, не считая нужным измерить их значение по тому барометру, которым могло бы служить для них поведение солдатских масс в строю или во время мобилизации. Ошибочной оценке реального соотношения сил, которую я сам имел тогда возможность констатировать при дворе и у самого короля, много способствовали симпатии высшего чиновничества отчасти к либеральной, отчасти к национальной стороне движения, – элемент, который без импульса сверху мог бы, пожалуй, оказать тормозящее влияние, но фактически решающей роли играть не мог.

Перед тем искушением, которое создавала обстановка, королем владело чувство, сходное с тем неприятным ощущением, которое я, хотя и большой любитель плавания, испытал однажды, когда в холодный день собирался войти в воду. Его опасения насчет того, созрела ли обстановка, питались между прочим теми историческими изысканиями, которые он обычно производил с Радовицем не только по поводу права Саксонии и Ганновера на дипломатическое представительство, но и по поводу распределения мест в «рейхстаге» по различным категориям его состава между теми, кто продолжал править, и теми, кто был медиатизирован, между владетельными князьями и персоналистами, между реципированными и нереципированными графами и в том числе по такому поводу, как привилегии барона фон Гроте-Шауэна.

II

Хотя в то время я стоял дальше от военных дел, чем впоследствии, но думаю, не ошибусь, предположив, что при переброске войсковых частей для подавления восстаний в Бадене и Пфальце было двинуто больше кадров и линейных соединений, чем следовало и чем потребовалось бы, если бы были двинуты мобилизованные войска. Во всяком случае во время ольмюцской встречи военный министр приводил в качестве одной из причин, вынуждавших к миру или по крайней мере к отсрочке войны, невозможность своевременно или даже вообще мобилизовать большую часть армии, *кадры* которой в неполном составе находились в Бадене или в других местах, вне районов своего постоянного расположения и мобилизации. Если бы весной 1851 г. мы имели в виду возможность решить вопрос путем войны и сохранили бы полностью свою мобилизационную способность, применив только *готовые к войне* войска, военные силы, которыми располагал Фридрих-Вильгельм IV, были бы вполне достаточны не только для того, чтобы подавить любое повстанческое движение в Пруссии и вне ее, но эти вооруженные силы обеспечили бы нам одновременно и возможность, не вызывая подозрений, подготовить в 1850 г. разрешение основных проблем того времени, в случае если бы последние обострились до степени вооруженной борьбы. Умному королю недоставало не политического предвидения, а решимости, и если в конкретных случаях его в принципе твердая вера в полноту собственной власти могла устоять против *политических* советников, то отнюдь не против опасений министерства финансов.

Я и тогда был уверен, что военные силы Пруссии достаточны, чтобы подавить все восстания, и что результаты такого подавления были бы тем благоприятнее для монархии и для национальной дела, чем большее сопротивление пришлось бы преодолеть правительству; лучше всего было бы, если бы можно было разбить в одной кампании все силы, сопротивления которых следовало ожидать. Во время восстаний в Бадене и Пфальце некоторое время оставалось под сомнением, на чью сторону перейдет часть баварской армии. Я вспоминаю, что сказал баварскому посланнику графу Лерхенфельду, когда он как раз в эти критические дни прощался со мной перед отъездом в Мюнхен: «Дай бог, чтобы и ваша армия, коль скоро она колеблется, открыто изменила; тогда борьба будет большая, но решающая, и нарыв вскроется. Если же вы заключите мир с ненадежной частью ваших войск, то нарыв будет загнан вовнутрь». Лерхенфельд, встревоженный и удивленный, назвал меня легкомысленным. Я закончил разговор словами: «Будьте уверены, мы обломаем и ваше и наше дело; чем хуже, тем лучше». Он мне не поверил, однако моя уверенность все же его подбодрила; я и теперь думаю, что было бы еще больше шансов разрешить тогдашний кризис так, как того хотели, если бы перед тем баденская революция усилилась вследствие измены также и части баварских и вюртембергских войск, чего тогда опасались. Впрочем, и тогда эти шансы остались бы, пожалуй, неиспользованными.

Я оставляю открытым вопрос, были ли страхи министерства финансов или династические угрызания совести и нерешительность высших сфер единственной причиной половинчатости и трусливости мероприятий, принятых тогда перед лицом серьезной опасности, или же в официальных кругах имели место опасения, подобные тем, которые в мартовские дни помешали Бодельшвингу и другим принять правильное решение, а именно: опасения, что в той мере, в какой король почувствует себя снова могущественным и уверенным, он сможет взять курс также и на абсолютизм. Я вспоминаю, что замечал такие опасения среди высшего чиновничества и в *либеральных* придворных кругах.

Остается открытым вопрос – не было ли использовано в интересах католицизма влияние генерала фон Радовица на короля в действовавшей на него форме, с тем чтобы помешать протестантской Пруссии учесть благоприятную возможность и с тем чтобы скрыть эту возможность от короля. Я и сейчас еще не знаю, был ли фон Радовиц врагом Пруссии, как католик, или

же он стремился лишь сохранить свое положение при короле⁷. Несомненно, он служил искусным костюмером для средневековых фантазий короля и способствовал тому, что его величество, увлекаясь вопросами об исторических формах и воспоминаниями из истории империи, упускал возможности практического вмешательства в ход развития современности. *Tempus utile* [полезное время] для создания Союза трех королей было кунктаторски (*dilatorisch*) заполнено второстепенными вопросами, пока Австрия не стала снова достаточно сильной, чтобы вынудить Саксонию и Ганновер к отступлению, так что в Эрфурте оба сооснователя этого Тройственного союза отпали. Во время заседаний Эрфуртского парламента у генерала фон Пфуля среди приглашенных им гостей зашел разговор о доверительных сведениях, полученных некоторыми депутатами, относительно численности формируемой в Богемии австрийской армии, которая должна была служить противовесом и коррективом к парламенту. Называли различные цифры – 80 тысяч и 130 тысяч человек. Радовиц в течение некоторого времени спокойно прислушивался и затем сказал решительным тоном, с присущим его правильному лицу выражением непоколебимой уверенности: «Австрия имеет в Богемии 28 254 человека и 7132 лошади». Тысячи, которые он назвал, *obiter* [случайно] сохранились у меня в памяти, остальные цифры я привожу наугад, чтобы дать наглядное представление о подавляющей точности сообщенных генералом данных. Естественно, эти цифры в устах официального и компетентного представителя прусского правительства заставили на время умолкнуть всех инакомыслящих. Какими силами располагала весной 1850 г. в Богемии австрийская армия, можно сейчас установить: к ольмюцскому периоду она насчитывала значительно более 100 тысяч человек, как я узнал на основании доверительных сообщений, сделанных мне военным министром в ноябре того же года.

Более близкое соприкосновение с графом Бранденбургом в Эрфурте убедило меня, что его прусский патриотизм питался главным образом воспоминаниями о 1812 и 1813 гг. и уже поэтому был пропитан немецким национальным чувством. Решающую роль все же играли его династические и борусские чувства, а также идея усиления мощи Пруссии. Он получил от короля, который тогда уже работал по-своему над моим политическим воспитанием, поручение использовать влияние, которое я мог бы оказать на фракцию крайних правых для поддержки эрфуртской политики, и попытался сделать это наедине; – во время прогулки между городом и Штегервальде он мне сказал: «Какая опасность может грозить Пруссии при таком положении вещей? Мы спокойно принимаем помощь в том размере, в каком нам ее предлагают, – “большем или меньшем” – “сколько дадут”», отказываясь на время от того, чего нам не предлагают. Долго ли мы сможем терпеть пункты конституции, с которыми приходится мириться королю, – это покажет лишь опыт. Не выйдет это – «мы выгатадим шпагу и выгоним всю компанию к чёрту». Не могу отрицать, что это воинственное заключение его рассуждений произвело на меня весьма выгодное впечатление, но я остался при своем сомнении – не будет ли зависеть высочайшее решение в критический момент в большей мере от иных влияний, чем от этого рыцарски настроенного генерала. Его трагический конец подтвердил мои сомнения.

Король побуждал также и господина фон Мантейфеля к попыткам привлечь прусских крайних правых на сторону правительственной политики и подготовить в этом смысле соглашение между нами и партией Гагерна. Он сделал так, что пригласил только меня и Гагерна

⁷ Генерал фон Герлах в августе 1850 г. писал (*Denkwürdigkeiten*, I, S. 514): «Уважение короля к Радовицу основывается на двух вещах: 1. На его внешне острой, логически математической рассудочности, при которой его бездумная индифферентность делает для него возможным избегать каких бы то ни было противоречий с королем; король же видит в этом образе мышления, абсолютно противоположном собственному его ходу мысли, пробный камень для своих построений и приобретает таким образом уверенность в своем деле. 2. Король считает своих министров и меня в том числе быдлом, уже потому, что мы вынуждены разрешать с ним те текущие практические дела, которые никогда не соответствуют его идеям. Он не считает себя способным ни заставить этих министров быть послушными ему, ни найти других министров, а поэтому он отказывается от этого пути и думает, что нашел в Радовице такого министра, который восстановит из Германии Пруссию, как это прямо признает Радовиц в *Deutschland und Friedrich-Wilhelm IV*».

к обеду и, не сказав даже нескольких вступительных слов, оставил нас вдвоем, когда мы еще сидели за бутылкой вина. Гагерн повторил мне лишь менее точно и вразумительно то, что было нам уже известно как программа его партии и, в несколько сокращенном виде, – как правительственное предложение. Он говорил, не глядя на меня, уставясь в небо. В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной, он, окончив свою длинную и напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами: *Roma locuta est* [Рим высказался]. Когда Мантейфель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча: я – потому, что ожидал возражений Гагерна; он – потому, что, помня свое положение во Франкфурте, считал ниже своего достоинства вести переговоры с прусским юнкером иначе, как в безапелляционном духе. Он был более склонен к роли парламентского оратора и президента, нежели серьезного политического деятеля, и воображал себя *Jupiter tonans* [Юпитером-громовержцем]. После того как Гагерн удалился, Мантейфель спросил меня, что он говорил. «Он произнес передо мной речь, как будто я – народное собрание», – ответил я.

Примечательно, что в обеих семьях – Гагернов и Ауэрсвальдов, представлявших тогда в Германии и Пруссии национальный либерализм, было тогда по три брата и среди них по одному генералу; оба эти генерала были более практичными политиками, чем их братья, и оба были убиты в результате революционных движений, развитию которых оба они из добрых патриотических побуждений содействовали в сфере своей деятельности. Генерал фон Ауэрсвальд, убитый 18 сентября 1848 г. под Франкфуртом, как говорили, потому, что его приняли за Радовица, похвалялся во время первого Соединенного ландтага тем, что, будучи полковником кавалерийского полка, сделал верхом сотни миль, чтобы оказать во время выборов содействие оппозиции среди крестьян.

В ноябре 1850 г. я был одновременно вызван как офицер ландвера в полк и как депутат – на предстоящую сессию палаты. Проезжая через Берлин в штаб полка, я явился к военному министру фон Штокгаузену, с которым был лично в хороших отношениях и который был мне признателен за кое-какие личные услуги. После того как я преодолел противодействие старика-швейцара и был допущен к министру, я дал выход своему воинственному настроению, будучи несколько возбужден и призывом в полк и тоном австрийцев. Министр, старый, энергичный солдат, в моральной и физической отваге которого я был уверен, сказал мне в основном следующее:

«В настоящий момент мы должны по возможности избегать разрыва. У нас нет достаточных сил, чтобы сдерживать натиск австрийцев, если они внезапно на нас нападут, даже без помощи саксонцев. Нам придется отдать им Берлин и объявить мобилизацию в двух центрах вне столицы, скажем, в Данциге и в Вестфалии; к Берлину мы могли бы стянуть лишь через две недели около 70 тысяч человек, но и этого было бы недостаточно против тех боевых сил, которые Австрия уже сейчас имеет наготове против нас». Если мы хотим ударить, – продолжал он, – то нам прежде всего необходимо выиграть время, а поэтому надобно желать, чтобы прения и речи, предстоящие в палате депутатов, не ускорили разрыва, как это можно предвидеть по тону, господствующему в прессе. Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросанность линейных частей, которые выступили и были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов своего комплектования и цейхгаузов частью в глубине страны, большею же частью в юго-западной Германии, т. е. в местах, где трудно быстро провести мобилизацию.

Баденские войска повели тогда в Пруссию по трудно проходимым дорогам через брауншвейгский Везерский район – доказательство того, как боялись нарушить границы владений союзных князей, в то время как остальные атрибуты их суверенитета с легкостью игнориро-

вались или совсем упразднились в проектах конституций империи и Союза трех королей. В проектах доходили почти до медиатизации, но не осмеливались претендовать на то, чтобы расквартировать войска, вне предусмотренных договорами пределов этапных дорог. Эта трусливая традиция была нарушена лишь в Швартау, когда разразилась война с Данией 1864 г. и опущенный ольденбургский шлагбаум был поднят прусскими войсками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.